

ГОФАРД ФИЛЛИПС
ЛАВКРАФТ



ЗАТАИВШИЙСЯ СТРАХ

Мастера магического реализма (АСТ)

Говард Лавкрафт

Затаившийся страх (сборник)

«АСТ»

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Coe)-44

Лавкрафт Г. Ф.

Затаившийся страх (сборник) / Г. Ф. Лавкрафт — «АСТ»,
— (Мастера магического реализма (АСТ))

ISBN 978-5-17-098068-0

При жизни этот писатель не опубликовал ни одной книги, после смерти став кумиром как массового читателя, так и искушенного эстета, и неиссякаемым источником вдохновения для кино- и игровой индустрии; его называли «Эдгаром По XX века», гениальным безумцем и адептом тайных знаний; его творчество уникально настолько, что потребовало выделения в отдельный поджанр; им восхищались Роберт Говард и Клайв Баркер, Хорхе Луис Борхес и Айрис Мёрдок. Один из самых влиятельных мифотворцев современности, человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на массовую культуру в целом, создатель «Некрономикона» и «Мифов Ктулху» – Говард Филлипс Лавкрафт.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-098068-0

© Лавкрафт Г. Ф.
© АСТ

Содержание

| | |
|--------------------------------------|----|
| Картинка в доме | 6 |
| Герберт Уэст – воскреситель мертвых | 12 |
| I. Из глубин мрака | 12 |
| II. Демон эпидемии | 15 |
| III. Шесть выстрелов в лунном свете | 18 |
| IV. Вопль мертвеца | 21 |
| V. Кошмар во мраке | 24 |
| VI. Адские легионы | 28 |
| Музыка Эриха Цанна | 32 |
| Затаившийся страх | 38 |
| I. Тень на печке | 38 |
| II. Прогулка в грозу | 42 |
| III. Что означал ослепительный блеск | 45 |
| IV. Ужасные глаза | 49 |
| Заточенный с фараонами | 52 |
| I | 52 |
| II | 61 |
| Крысы в стенах | 70 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 73 |

Говард Лавкрафт

Затаившийся страх (сборник)

© В. Бернацкая; О. Колесников; С. Лихачева; Е. Романова; Ю. Соколов, перевод на русский язык

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Картинка в доме

Искатели острых ощущений посещают странные и весьма далекие места. Для них были созданы катакомбы Птолемеев и украшенные резьбой мавзолеи в глубине полудиких стран. Они взбираются при свете луны на развалины рейнских замков и отважно спускаются по черным, поросшим лишайником ступеням в каменные останки давно забытых азиатских городов. Заколдованный лес и одинокая гора посреди пустоши – их святыни, и они надолго задерживаются возле зловещих монолитов на необитаемых островах. Но подлинные ценители грозных опасностей, для которых очередное потрясение при созерцании неописуемо отвратительного зрелища – вождельный финал, увенчивающий долгие поиски, пожалуй, превыше всей этой экзотики оценят древний и одинокий фермерский дом где-нибудь в провинциальной глуши Новой Англии, ибо в таком месте темные элементы потаенной силы, гнетущего одиночества, гротескной вычурности и дремучего невежества сливаются для создания изумительной мерзости.

Самыми зловещими бывают именно маленькие некрашенные деревянные домики поодаль от проезжих дорог, обычно притулившиеся на сыром травянистом склоне или прислонившиеся к гигантскому обнажившемуся каменному пласту. Двести, а то и более лет назад они уже были покосившиеся или приземистые, и лоза оплетала их стены, а деревья простирали над их крышами ветви. Сейчас они почти незаметны среди безудержного буйства зелени и замаскированы тенью, но их окна, из множества мелких застекленных секций, по-прежнему поглядывают тревожно, словно подмигивая сквозь мертвящее оцепенение, защищающее разум от помешательства, притупляя воспоминания о неописуемых событиях.

Многие поколения в таких домах жили странные люди, подобных которым свет не видывал. Ведомые мрачной и фанатичной верой, отдалившей их от остальных людей, их предки искали самые глухие места, желая обрести там свободу. В подобных местах потомки этих свободолюбивых искателей и в самом деле росли в полной свободе, не обремененные ограничениями и тяготами своих сверстников, но попадали в рабские оковы мрачных фантазий их собственного разума. Вдали от света цивилизации сила этих пуритан направлялась порой по весьма странным каналам, и в своей изоляции, в своем болезненном самоограничении и борьбе за жизнь с безжалостной природой они подчас перенимали самое темное и загадочное из доисторических глубин обитателей холодных северных краев. По необходимости практичные и суровые по складу характера, эти люди не были прекрасны в своих грехах. Ошибаясь, как и все смертные, они понуждались их строгими религиозными догмами найти тайное убежище от всего этого, и потому со временем все меньше осознавали, что именно старались скрыть. Только молчаливые, сонные, пугливо глазающие окнами домики в захолустье могли бы поведать, что именно скрывается с давних времен, но обычно они неразговорчивые, не желающие стряхивать с себя дремоту, помогающую им забыть былое. Иногда даже кажется, что милосерднее будет вообще снести эти домики, ибо они часто погружены в грезы.

Именно в таком вот сокрушенном времени строения я оказался в ноябре 1896 года, когда разразившийся во второй половине дня холодный проливной дождь вынудил меня искать хоть какое-то убежище. Я уже несколько дней путешествовал по сельской местности Мискатонской долины в поисках кое-какой генеалогической информации, а поскольку интересовавшие меня места в основном располагались вдали от дорог и были труднодостижимы, то, несмотря на позднюю осень, путешествовал я на велосипеде. Желая добраться до Аркхема кратчайшим путем, я оказался на старой и, по всей видимости, заброшенной дороге, и когда вдали от населенных пунктов меня застигла гроза, в поисках убежища я наконец наткнулся на древнее и неказистое деревянное строение неподалеку от основания каменистого холма, щурящееся мутными окнами из-за двух огромных, уже облетевших вязов. Даже издали,

как только я заметил его от дороги, это строение произвело на меня неприятное впечатление. Порядочные и благопристойные дома не смотрят на путешественника так лукаво и в то же время заволакивающе, а кроме того, благодаря генеалогическим изысканиям я был знаком с местными преданиями, настраивающими против посещения подобных мест. Однако гроза оказалась сильнее предрассудков, и вскоре я уверенно крутил педали вверх по пологому склону в сторону запертой двери, наводящей на мрачные мысли и в то же время манящей.

На первый взгляд мне показалось, что дом заброшен, однако по мере приближения к нему я был все меньше в этом уверен, ибо хотя ведущая к нему тропинка заросла травой, вид ее наводил на мысль, что ею изредка пользуются. Поэтому я не стал решительно тянуть на себя ручку двери, а осторожно постучался, ощущая внутреннее волнение, которое едва ли мог объяснить. Ожидая возможного ответа на грубом, поросшем мхом камне, служившем своего рода порогом, я посмотрел на ближайшие окна, затем поднял взгляд на оконце над дверью и обратил внимание, что стекла в них грязные и старые, но не разбиты. Значит, дом все еще обитаем, хотя и удален от дороги и имеет заброшенный вид. Однако на мой стук так никто и не ответил, я постучал снова, а потом потрогал заржавленную щеколду и обнаружил, что дверь не заперта. За ней оказалась маленькая прихожая, со стен которой осыпалась штукатурка, а изнутри дома доносился странный неприятный запах. Я вошел, неся в руке велосипед, и закрыл за собой дверь. Прямо передо мной узкая лестница уходила вверх, к маленькой двери, ведущей, наверное, в мансарду, тогда как справа и слева от меня располагались закрытые двери, ведущие в комнаты.

Поставив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низким потолком, куда свет едва проникал сквозь запыленные окна, обставленном скудно и самым примитивным образом. Похоже, это было чем-то типа гостиной, поскольку здесь стояли стол и несколько стульев, а кроме того был огромный камин, на полке над которым тикали старинные часы. Книг и газет было мало, а названия их при таком освещении я разобрать не смог. Но прежде всего я обратил внимание на царившую в доме атмосферу старых времен, проступавшую буквально в каждой детали. В большинстве домов в этих краях я замечал разнообразные реликвии прошлого, но здесь любовь к старине казалась доведенной до своего предела, ибо я не обнаружил ни единого предмета, относящегося к периоду после войны за независимость. Не будь обстановка здесь такой скромной и невзрачной, это был бы рай для собирателя старины.

Осматривая это странное жилье, я ощущал все более сильную антипатию, зародившуюся во мне уже при первом взгляде на унылое строение. Я никак не мог определить, что это, неприязнь или, может, потаенный страх, но отчетливо ощущал во всей атмосфере мрачность и грубую порочность старины, некие тайны, о которых давно следовало бы забыть. Садиться мне почему-то не хотелось, и потому я начал бродить по комнате, осматривая те предметы, на которых останавливался мой взгляд. Первым таким предметом оказалась книга средних размеров, лежавшая на столе и имевшая настолько древний вид, что казалось, будто ее взяли из какого-нибудь музея. Издание в кожаном переплете с металлическими уголками и прекрасной сохранности казалось неуместным в таком примитивном помещении. Когда я открыл ее и увидел титульный лист, мое изумление возросло многократно, ибо это оказалось не что иное, как редчайшее описание Пигафетты района Конго, написанное на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса, изданное во Франкфурте в 1598 году. Мне часто доводилось слышать об этой книге, снабженной крайне любопытными иллюстрациями, выполненными братьями Де Брай, и потому я на какое-то время совершенно забыл про беспокойство и принялся листать ее. Гравюры действительно оказались весьма интересными, основанными на фантазии и небрежных описаниях; туземцы на них были с белой кожей и характерными для европейцев лицами; вероятно, я не скоро бы закрыл эту книгу, если бы не одно странное обстоятельство, задевшее мои усталые нервы и оживившее ощущение непонятного беспокойства. Эта книга

непонятно почему норвила раскрыться на одном и том же месте, а именно на иллюстрации XII века, где в омерзительных подробностях была изображена мясная лавка каннибала королевства Анзику. Я даже устыдился своей неприязни к какой-то заурядной картинке, однако иллюстрация эта все же вызвала у меня беспокойство, особенно потому что к ней прилагалось что-то типа справки по гастрономическим пристрастиям каннибалов.

Я обратил взгляд к книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое: Библия XVIII века; «Путешествия пилигрима» примерно того же периода, с вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исайей Томасом; заметно подпорченный громадный том «*Magnalia Christi Americana*» Коттона Матера и еще несколько книг тех же времен, а затем мое внимание привлек внезапный звук шагов в комнате наверху. Поначалу изумившись, поскольку никто не ответил на мой стук в дверь, я вскоре решил, что хозяин дома, скорее всего, только что очнулся после долгого сна, и уже с меньшим удивлением слушал поскрипывание ступеней. Поступь спускавшегося по лестнице человека была тяжелой и в то же время какой-то настороженной, что мне особенно не понравилось. Войдя в комнату, я инстинктивно запер за собой дверь. После недолгой тишины, пока хозяин, очевидно, осматривал мой оставленный в прихожей велосипед, послышалось звяканье щекотки, а затем дверь в гостиную стала медленно открываться.

В дверном проеме стоял человек столь необычной внешности, что я не вскрикнул лишь потому, что с детства был приучен к сдержанности. Старый, с белой бородой и в поношенной одежде, хозяин дома внушал удивление и уважение своим видом и телосложением. Ростом он был примерно метр восемьдесят и, несмотря на возраст и явную нищету, казался крепким и энергичным. Лицо, почти полностью скрытое длинной бородой, росшей чуть ли не от самых глаз, казалось неестественно румяным и не столь морщинистым, как следовало ожидать; над высоким лбом торчала копна седых волос, лишь чуть поредевшая с годами. Взгляд голубых глаз, слегка налитых кровью, казался пронзительным и даже пылающим. Если бы не чудовищная неряшливость, старик производил бы впечатление важной персоны. Эта неряшливость, даже при таких лице и фигуре, делала его внешность отталкивающей. Невозможно было определить, что представляла собой его одежда, ибо мне она показалась массой каких-то лохмотьев, колышущейся над высокими, тяжелыми ботинками; его же личная нечистоплотность вообще не поддается описанию.

Появление этого человека и тот инстинктивный страх, который он внушал, заставляли меня ожидать какой-то враждебности, потому я почти вздрогнул от изумления и проникся ощущением несообразности, когда он указал рукой в сторону стула и обратился ко мне тонким, слабым голосом, полным льстивого почтения и угодливости. Речь его была весьма любопытной – крайне ярко выраженная форма североамериканского диалекта, который, как мне казалось, давно вышел из употребления, – и я внимательно вслушивался в нее, пока он усаживался напротив меня, чтобы побеседовать.

– Попали под дождь, да? – произнес он в качестве приветствия. – Рад, что вы оказались неподалеку и догадались заглянуть. Похоже, я спал, иначе бы услышал, как вы вошли. Годы уже не те, хочется вздремнуть даже днем. Путешествуете? С тех пор, как отменили дилижанс на Аркхем, редко доводится видеть кого-то на этой дороге.

Я ответил, что направляюсь в Аркхем, и извинился за грубое вторжение в его жилище, после чего он продолжил:

– Рад видеть вас, молодой сэр... в здешних местах редко доводится видеть нового человека, и поболтать не с кем. Похоже, вы из Бостона, да? Я там никогда не был, но человека из города видно сразу... в восемьдесят четвертом приезжал к нам сюда один школьный учитель, но потом пропал внезапно, и с тех пор никто о нем не слышал...

При этих словах старик захихикал, но не ответил на мой уточняющий вопрос об учителе. Похоже, он пребывал в игривом расположении духа, но все же от него можно было ожидать

чужачества. Некоторое время он продолжал нести какой-то вздор, пребывая в состоянии преувеличенного радушия, пока мне не пришло в голову поинтересоваться, каким образом у него оказалась столь редкая книга, как «Regnum Congo» Пигафетты. Я все еще пребывал под впечатлением от этой книги и испытывал некоторое колебание, прежде чем спросить о ней, однако любопытство победило страхи, что постепенно накапливались с того момента, когда я впервые увидел этот дом. К моему облегчению, этот вопрос не озадачил его, ибо старик свободно и легко продолжил болтовню:

– А, эта книга про Африку? В шестьдесят восьмом выторговал ее у капитана Эбенезера Холта – а потом он был убит на войне.

Упоминание Эбенезера Холта заставило меня резко взглянуть на старика. Я уже встречал это имя в своих генеалогических изысканиях, и все упоминания относились исключительно к периоду до войны за независимость. Подумав, что хозяин дома может оказать помощь в моих изысканиях, я решил позже расспросить его подробнее. Между тем он продолжал:

– Эбенезер долгое время ходил на салеомском торговом судне и покупал в портах всякие забавные вещицы. Эту привез, думаю, из Лондона – любил он захаживать во всякие местные магазины... Как-то раз я был у него дома – это на холме, он там лошадьми торговал, – и увидел эту книгу. Мне в ней картинки понравились, и я ее выменял. Она чудная... дайте-ка надеть очки...

Старик покопался в лохмотьях и извлек грязные и подлинно антикварные очки – с маленькими восьмиугольными линзами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он потянулся к лежавшей на столе книге и принялся аккуратно, почти любовно листать ее.

– Эбенезер немного читал на этой... на латыни, а я вот не научился. Я просил нескольких школьных учителей почитать мне немного, и еще Пэссона Кларка... говорят, он потом утонул... а вы что-нибудь в этом понимаете?

Я ответил, что да, и перевел ему один из первых абзацев. Если я где и ошибся, старик все равно не мог этого заметить, и при этом он почти по-детски радовался моему переводу. Между тем находиться совсем рядом с ним становилось все более невыносимо, но я не видел способа избежать этого, не обижая старика. Меня забавляла детская увлеченность этого пожилого человека картинками в книге, которую он не мог прочесть, и я задавался вопросом, может ли он прочесть те немногочисленные английские книги, что украшают комнату. Эта демонстрация простодушия почти отменила мои смутные опасения, и я с улыбкой продолжал слушать болтовню хозяина дома.

– А странно все-таки, что картинки могут наводить на всякие мысли. Взять хотя бы эту, в самом начале. Вы когда-нибудь видели такие деревья – с большими листьями, которые качаются вверх-вниз? Или вот эти люди: это не могут быть негры – те совсем не такие. Скорее индусы, даже если они в Африке. Из этих вот некоторые похожи на обезьян – или наполовину обезьяны, наполовину люди. А про таких чудис я никогда не слышал. – В этом месте он ткнул в очередное порождение фантазии художника, изображавшего нечто вроде дракона с головой крокодила. – Но сейчас я покажу вам самую лучшую – вот тут, почти в середине...

Голос старика стал чуть глуше, а в глазах появился блеск; его подрагивающие пальцы сделались еще более неуклюжими, чем ранее, но со своей задачей справились. Книга раскрылась почти сама, как будто ее особенно часто открывали именно на этом месте – на той самой двенадцатой иллюстрации, где была изображена лавка мясника-каннибала из Анзику. Ощущение беспокойства вернулось ко мне, хотя я постарался этого не показывать. Особо нелепым казалось то, что художник изображал африканцев совсем как белых людей – части тел, свисавшие со стен лавки, выглядели омерзительными, тогда как мясник с топором на их фоне смотрелся крайне неуместно. Но хозяину дома, похоже, эта иллюстрация нравилась настолько же, насколько мне внушала отвращение.

– Ну, что думаете об этом? Небось, никогда ничего подобного не видели, а? Я как только это увидел, так сказал Эбу Холту: «На это как глянешь – сразу чувствуешь, как кровь по жилам бежит». Когда я читал в Библии про убийства – про истребление мадианитян, например, – то мог только подумать, но не представить картинку. А здесь сразу видно, как все это делается – грех, конечно, но разве все мы не родились в грехе и не живем в нем?.. Этот парень, которого на куски порубили – я как гляну на него, так кровь по жилам быстрее бежит. Я подолгу смотрю на это – видишь, как мясник ему ноги оттяпал? Вот его голова на лавке, рядом с ней одна рука, а другая – с другой стороны, висит на стене.

Пока старик бормотал все это в шокирующем экстазе, выражение его заросшего лица в очках неописуемо изменялось, а голос становился тише. Не берусь описать, какие я при этом испытывал чувства. Весь тот ужас, который я смутно ощущал, нахлынул вдруг с новой силой, и я осознал, что ненавижу это древнее и гнусное существо, сидящее так близко ко мне. Его безумие или, во всяком случае, почти патологическая извращенность стали для меня очевидными. Он перешел почти на шепот и говорил с хрипотцой, которая была ужаснее крика, а я, дрожа всем телом, продолжал слушать его.

– Вот я и говорю – странно, что эти картинки наводят на мысли. Знаете, молодой сэр, ведь на этой картинке почти про меня. После того как я забрал у Эба эту книгу, я помногу смотрел ее, особенно послушав воскресную проповедь Пэссона Кларка – он читал их в большом парике. И однажды я попробовал кое-что забавное – только не бойтесь, молодой сэр, потому как все, что я сделал, это просто посмотрел на эту картинку, перед тем как зарезать овцу, которую затем отвез на рынок... так вот, гораздо веселее убивать после того как посмотришь на такое...

Голос старика стал совсем тихим, так что я едва различал произносимые им слова. Я слышал дождь, стук капель по маленьким тусклым оконным стеклам, и вдруг прозвучали раскаты грома, хотя гроза была крайней редкостью для этого времени года. Затем с ужасающей вспышкой и оглушительным грохотом рядом ударила молния, сотрясая ветхий домишко до самого основания, однако мой нащептывающий собеседник, казалось, ничего не заметил.

– Как посмотрел, прирезать овцу стало немного веселее, но все равно этого было как-то недостаточно. Странно чувствовать, как тебя охватывает жажда чего-то такого, особенного... Если вы, молодой человек, любите Господа нашего всемогущего, то никому не рассказывайте, но я поведаю вам правду... глядел я на эту картинку, и внутри у меня поднимался голод по такой пище, которую я не мог ни купить, ни получить еще как-то... да сидите же спокойно, что с вами?.. Я же не сделал ничего такого, только подумал, а что, если сделаю?.. Говорят, что мясо питает нашу плоть и кровь, дает нам новую жизнь, вот я и подумал, что человек может жить значительно дольше, если будет есть сродное самому себе...

Но продолжения фразы не последовало. Старик прервался не из-за моего страха и не из-за усиливавшейся грозы. Произошло это по самой простой и совершенно неожиданной причине.

Между нами лежала та самая книга, раскрытая на омерзительной иллюстрации. Как только старик прошептал «самому себе», я услышал слабый звук, похожий на легкий шлепок, и на пожелтевшей странице появилось пятно. Я подумал о дожде и протекающей крыше, но дождь не бывает красным. Поблескивающее на изображении лавки мясника каннибалов королевства Анзику маленькое красное пятнышко придавало кошмарной сцене на старинной гравюре особую достоверность. Старик тоже увидел пятно и тут же замолчал, еще до того, как выражение ужаса на моем лице заставило бы его сделать это; он быстро поднял взгляд к потолку – полу той комнаты, которую он покинул менее часа назад. Я проследил за его взглядом и увидел над нами, на отслаивающейся штукатурке старого потолка, большое темно-красное пятно, которое, как мне показалось, расширилось буквально на глазах. Я не закричал и даже не двинулся с места, а лишь крепко закрыл глаза. Мгновение спустя раздался неимоверно громкий удар грома; чудовищной силы удар молнии сокрушил этот проклятый дом

со всеми его жуткими тайнами и принес мне забытие – то единственное, что могло спасти мою душу.

1921

Герберт Уэст – воскреситель мертвых

I. Из глубин мрака

О Герберте Уэсте, моем друге в студенческие и все последующие годы, я не могу говорить иначе как с содроганием. Охватывающий меня при этом ужас связан не только со зловещими обстоятельствами его недавнего исчезновения, но и с самим характером его жизнедеятельности. Впервые этот ужас сковал меня более семнадцати лет назад, в бытность нашу студентами третьего курса – мы учились в медицинской школе при Мискатоникском университете в Аркхеме. Пока мы дружили, необычность и демонизм его опытов неудержимо влекли меня, – теперь же, когда его не стало, магия исчезла, а ужас, напротив, возрос. Воспоминания и предчувствия могут быть страшнее жизненных обстоятельств.

Первый ужасный случай, произошедший вскоре после нашего знакомства, стал самым жутким событием в моей жизни, и мне до сих пор нелегко о нем говорить. Как я уже упоминал, мы учились тогда в университете, где Уэст прославился своими безумными теориями о природе смерти и о возможности преодоления ее искусственным путем. В основе его взглядов, над которыми дружно потешался весь преподавательский состав вкупе со студентами, лежало представление о механической природе жизни: по его мнению, органический механизм после завершения естественных процессов можно заставить функционировать вновь при помощи определенных химических веществ. Во время экспериментов он умертвил бесчисленное множество кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян, вводя им различные растворы, и стал в колледже притчей во языцех. Несколько раз ему удалось добиться появления признаков жизни, подчас пугающих, у предположительно мертвых животных, но вскоре он понял, что дальнейшее совершенствование метода, если оно возможно, потребует целой жизни. Кроме того, стало ясно: поскольку одинаковые растворы действуют по-разному на различные виды органических тканей, моему другу, дабы наращивать ценность работы, требуются человеческие особи. Именно на этом этапе он вступил в конфликт с профессурой колледжа: проведение дальнейших экспериментов ему запретил ни больше ни меньше как сам декан, образованнейший и добросердечнейший доктор Аллен Хелси, чьи добрые дела помнит каждый старожил Аркхема.

Я всегда терпимо относился к поискам Уэста, и мы часто вместе обсуждали его теории, а также многовариантность вытекающих из них следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь есть совокупность химических и физических процессов, а так называемая «душа» является мифом, мой друг верил, что успешное воскрешение мертвых зависит в первую очередь от состояния тканей. Если распад еще не начался, то труп, в котором сохранены все органы, можно соответствующими усилиями вернуть жизнь. Уэст понимал, что психическая или интеллектуальная сфера может деградировать из-за особой чувствительности мозговых клеток, для которых даже краткое пребывание в состоянии смерти чревато непредвиденными последствиями.

Поэтому он стремился заполучить самые свежие экземпляры, вливая им в кровь свой раствор сразу же после кончины. Именно это обстоятельство вызывало сопротивление профессоров, которые не были уверены, что смерть имела место во всех случаях. Они продолжали придирчиво и дотошно следить за его экспериментами.

Вскоре после наложения запрета на его работу Уэст признался мне, что намерен продолжить опыты втайне, для чего ему потребуются свежие трупы. Было неприятно слушать, как он прикидывает, где и как их доставать, ведь раньше нам об этом заботиться не приходилось. Если в морге отсутствовали трупы, доставать их вменялось в обязанность двум местным

неграм, которые исправно этим занимались. В те годы Уэст был хрупким светловолосым юношей небольшого роста, с тонкими чертами лица и голубыми глазами; он носил очки и говорил тихим голосом. От такого человека жутковато было слышать сравнительные характеристики привилегированного кладбища при церкви Христа и кладбища для бедняков. Первое никак не устраивало Уэста: ведь практически каждый, похороненный там, предварительно бальзамировался.

Вскоре я стал его деятельным и преданным ассистентом, помогая в решении разного рода проблем, касались ли они источника поступления трупов или же поиска подходящего места для наших устрашающих экспериментов. Именно я предложил для этой цели дом на ферме Чепмена, что за Медоу-хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, тщательно занавесив окна, чтобы скрыть от посторонних глаз наши ночные деяния. Дом стоял в безлюдном месте, в стороне от дорог, но меры предосторожности были все же необходимы, ибо слухи о таинственных огнях в ночи, разнесенные случайными бродягами, могли положить конец нашим занятиям. В случае расспросов порешили называть нашу лабораторию химической. Постепенно наше мрачное убежище заполнилось нужным оборудованием, частично закупленным в Бостоне, а частично позаимствованным тайком в университете. Это оборудование тщательно камуфлировалось, и распознать, что к чему, мог только глаз знатока. Мы также заготовили лопаты и кирки, необходимые для будущих захоронений в подвале. В университете мы пользовались кремационной печью, но в нынешних нелегальных условиях доступ к ней оказался закрыт. С трупами всегда было много хлопот, даже с морскими свинками, которых Уэст тайно использовал для опытов в своем гостиничном номере.

Подобно вампирам, мы подстерегали каждую новую смерть, ведь нам подходили не все покойники. Трупам надлежало быть свежими, без всяких искусственных консерваций, желательно не источенными болезнью и, конечно, со всеми жизненно важными органами. Больше всего подходили жертвы несчастных случаев. В течение многих недель нам не попадалось ничего подходящего, хотя мы связывались с моргами и больницами, ведя переговоры якобы по поручению университета и стараясь при этом не вызывать подозрений. Мы узнали, что наш факультет пользуется в таких случаях преимущественным правом, и решили остаться в Аркхеме на все каникулы, когда в колледже занимались только немногочисленные «летние» классы. Наконец нам повезло, случай подвернулся просто идеальный: молодой здоровый рабочий утонул в пруду и уже на следующее утро был похоронен за счет города на кладбище для бедных. Никаких проволочек и никакого бальзамирования. Днем мы отыскивали свежую могилу и решили начать работу вскоре после полуночи.

То, чему мы посвятили предутренние часы, было пренеприятнейшим делом, хотя тогда у нас еще не развился особый ужас перед кладбищами, чему так способствовали дальнейшие события. Мы захватили с собой лопаты и керосиновые лампы (электрические фонарики уже существовали, но их качество было гораздо хуже нынешнего). Работа продвигалась медленно. Будь мы поэтами, она могла бы навевать на нас мысли о бренности человеческой жизни, но, будучи учеными, мы ничего, кроме отвращения, не ощущали и испытали большое облегчение, когда лопаты стукнулись о дерево. И вот сосновый гроб был полностью откопан, Уэст съехал вниз, снял крышку, извлек тело и подал его мне. Согнувшись, я перехватил и вытащил труп, а потом мы вдвоем, стараясь, чтобы все выглядело как прежде, аккуратно засыпали могилу. Нас обоих трясло. Застывший труп с безучастным лицом выглядел ужасно, но мы все же не ушли до тех пор, пока не уничтожили следы нашего пребывания. Убедившись наконец, что все в порядке, мы засунули тело в холщовый мешок и отправились на ферму старика Чепмена.

Лежа на импровизированном операционном столе в старом фермерском доме, наш покойник при свете мощной карбидной лампы выглядел вполне материально и несколько не напоминал привидение. Это был крепкий, ширококостный, явно плебейского типа парень,

грубое, без всяких там тонкостей или воображения животное, чьи физиологические процессы были наверняка простыми и здоровыми. Лежа перед нами с закрытыми глазами, он казался скорее спящим, чем мертвым, хотя тщательные тесты показывали, что в нем отсутствовали всякие проявления жизни. Мы нашли наконец то, что давно искал Уэст, – мертвого мужчину нужного типа, которому можно ввести раствор, тщательно приготовленный с учетом специфики человеческого организма. Мы были очень взволнованы. Шансов на полный успех почти не предвиделось, особенно мы боялись непредсказуемых и, возможно, ужасных последствий частичного воскрешения. Опасения вызывало состояние мозга и рефлексов нашего подопечного: ведь за время, прошедшее с момента смерти, особо чувствительные церебральные клетки могли разрушиться. Меня же обуревало любопытство относительно того, что принято называть «душой», а при мысли о том, какими тайнами способен поделиться с нами восставший из мертвых, меня охватывало глубокое благоговение. Что мог видеть этот юноша с безмятежным лицом в недостижимых сферах и что, будучи возвращенным к жизни, мог нам поведать? Впрочем, любопытство мое быстро прошло – в основном я разделял материалистические взгляды моего друга. А тот был вполне спокоен и невозмутимо ввел в вену мертвеца значительное количество своего раствора, сразу же перевязав место укола.

Ожидание было мучительным, но Уэст не терял присутствия духа. Время от времени он приставлял к груди покойника стетоскоп, философски перенося отсутствие изменений. Так прошли три четверти часа. Наконец Уэст решительно заявил, что раствор неудовлетворителен, но он сейчас изменит состав и попробует все повторить. А потом уж спрячем наш чудовищный трофей. Еще днем мы вырыли в погребке яму и до рассвета должны были закопать нашего мертвеца: запоры на дверях были крепки, но нас могли увидеть, а прослыть кладбищенскими мародерами все же не хотелось. Впрочем, к следующей ночи труп все равно потерял бы кондицию. И вот, прихватив с собой карбидную лампу, мы перешли в соседнюю лабораторию, оставив нашего молчаливого гостя на столе в полной темноте, и увлеченно занялись составлением нового раствора. Уэст тщательно высчитывал и взвешивал все его компоненты.

Ужасное событие произошло внезапно. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст что-то грел на спиртовке, которая заменяла нам в этом старом доме газовую горелку. Вдруг из покинутой комнаты раздались страшные крики, чудовищнее которых мы не слышали в своей жизни. Даже если бы сама преисподняя разверзлась, открыв миру смертные муки грешников, адские звуки, доносящиеся оттуда, не могли быть более зловещи, ибо в услышанной нами невообразимой какофонии слились запредельный ужас и безмерное отчаяние воскрешенного существа. Эти звуки не были человеческими – ни один человек не смог бы издать их, и мы, не думая ни о покойнике, ни о лаврах первооткрывателей, бросились к ближайшему окну, как раненые звери. Опрокидывая на ходу склянки, лампы, реторты, мы выпрыгнули наружу и оказались в звездной мгле сельской ночи. Помнится, мы кричали от ужаса и, спотыкаясь, бежали по направлению к городу. Достигнув городских окраин, мы, однако, постарались принять вид попристойнее – изображая веселых гуляк, бредущих домой после изрядной попойки.

Мы не расстались, а, добравшись до жилища Уэста, прошептались с ним до рассвета при зажженных свечах. Немного успокоившись, составили план дальнейших действий и завалились спать, порешив не идти сегодня на занятия. Но на следующую ночь мы тоже не сомкнули глаз, так как вечером прочли в газете две заметки разных авторов. В первой сообщалось, что на старой ферме Чепмена по непонятной причине сгорел дом (видимо, из-за опрокинутой лампы). А во второй говорилось, что на кладбище для бедняков кто-то пытался разрыть свежую могилу, делая это, похоже, без помощи лопаты, голыми руками. Последнее сообщение мы отказывались понимать, памятуя, как аккуратно заделали могильный холм.

Даже семнадцать лет спустя Уэст часто оглядывался, жалуясь, что ему слышатся чьи-то шаги. А теперь его больше нет.

II. Демон эпидемии

Хотя минуло уже пятнадцать лет, но я до сих пор не могу забыть то страшное время, когда по Аркхему, подобно злому ифриту из иблисских владений, стал, крадучись, расползаться тиф. В памяти людей то лето осталось как время разгула сатаны, распростершего свои темные крыла над множеством склепов на кладбище при церкви Христа, мне же оно памятно по событию еще более ужасному. Теперь, когда Герберта Уэста нет больше, я остался единственным свидетелем этого кошмара.

Мы с Уэстом занимались на летних аспирантских курсах медицинского факультета Мискатоникского университета, где мой друг прославился экспериментами по воскрешению мертвых. В научных целях он извел множество мелких животных, но затем его необычную деятельность оборвал наш декан, доктор Аллен Хелси, отнесшийся к этим опытам скептически. Уэст все же втайне продолжал свои занятия в грязном номере. Однажды ему удалось доставить труп, похищенный на кладбище для бедняков, в заброшенный фермерский дом неподалеку от Медоу-хилл, но тут с ним приключилась жуткая, незабываемая история.

В тот раз я был с ним вместе и видел, как он вводил в неподвижную вену эликсир, способный, по его мнению, восстанавливать жизненно важные химические и физические процессы. Все кончилось плачевно: мы бежали, охваченные ужасом, который впоследствии приписали нервному переутомлению, но Уэст так никогда и не оправился от чувства, что кто-то постоянно за ним следит. Тот труп был недостаточно свеж, а свежесть исходного материала – необходимое условие для восстановления нормальных психических функций. Похоронить мы его не смогли – старый дом сгорел, а ведь насколько нам было бы спокойнее, будь мы уверены, что труп покоится под землей.

После этого случая Уэст на какое-то время прекратил свои опыты, но исследовательский зуд истинного ученого вскоре заставил его обратиться в деканат с просьбой разрешить пользоваться операционной и трупами из анатомического театра. Уэст продолжал считать свою работу необычайно важной. Его просьбы, однако, остались без внимания: доктор Хелси был непреклонен, а другие профессора поддерживали своего шефа. В принципиально новой теории воскрешения они не видели ничего, кроме незрелых гипотез молодого энтузиаста, внешний вид которого – хрупкое сложение, светлые волосы, голубые, спрятанные под очками глаза – ничем не выдавал сверхчеловеческую, почти демоническую силу холодного разума, таящегося под заурядной внешностью. С годами он не казался старше, а лишь суровел лицом. А потом в Сефтоне произошло это несчастье, после которого Уэст исчез.

Уэст сражался с доктором Хелси вплоть до окончания учебы, причем вел этот словесный поединок далеко не столь корректно, как наш добрейший декан. Уэст знал свое: ему неразумно и бессмысленно тормозят исключительно важную работу, которую он, конечно, сможет вести и после окончания факультета, но тогда в его распоряжении не будет великолепного университетского оборудования. Для такого юноши, как Уэст, с ярко выраженным логическим складом ума, было непонятно и непереносимо, что старики-консерваторы, упорно не замечая его успешных опытов на животных, отвергают даже возможность воскрешения. Только умудренный опытом человек убедил бы его снисходительней отнестись к умственной ограниченности этих ученых мужей – порождению въевшегося с детских лет пуританства; они могли быть мягки, совестливы, подчас добры и дружелюбны, оставаясь при этом узколобыми, нетерпимыми, косными и ограниченными. Время милостиво к этим несовершенным, но возвышенным характерам, единственный порок которых – робость, но в конце концов и их ждет наказание. Их интеллектуальная ущербность – птолемизм, кальвинизм, антидарвинизм, антииницианство, саббатарианизм и пиетет к законодательству, регулирующему жизнь населения, – делает их комическими фигурами. Несмотря на свои удивительные научные достижения, Уэст был

еще совсем молодым человеком и не проявлял должного терпения в отношениях с добрейшим доктором Хелси и его учеными коллегами. Его раздражение росло вместе с желанием доказать этим добропорядочным тупицам свою правоту каким-нибудь необычным, фантастическим образом. Как большинство юнцов, он мысленно вынашивал планы мщения, триумфа и, наконец, великодушного прощения соперников.

И вот, казалось, из самых глубин преисподней, пришла, ослабившись, смертная кара. Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались летом поработать в университете и были свидетелями начала этого чудовищного бедствия. Не получив еще врачебных лицензий, мы, однако, уже были дипломированными медиками, и нас тут же начали использовать в этом качестве: число заболевших росло не по дням, а по часам. Ситуация вышла из-под контроля властей, смерти следовали одна за другой, и гробовщики уже не справлялись с работой. Трупы хоронили поспешно, ни о каком бальзамировании и речи не могло быть, даже если умирали важные особы, которых хоронили на кладбище при церкви Христа. Уэст частенько заговаривал о парадоксе ситуации: уйма свежих трупов – и ни один не попал под его нож! Но было не до этого, мы просто валились с ног от усталости, и огромные физические и психические нагрузки приводили к тому, что мой друг все больше падал духом.

А добродетельные враги Уэста тоже не сидели сложа руки. Факультет был практически закрыт, все преподаватели брошены на эпидемию. Доктор Хелси особенно хорошо показал себя в деле, умело и самоотверженно борясь за жизнь больных даже в самых безнадежных случаях или когда другие врачи отступали из-за страха перед возможным заражением. Меньше чем за месяц бесстрашный декан стал, можно сказать, народным героем, хотя сам он, изнемогая от усталости и нервного истощения, казалось, не замечал своей славы. Уэст не мог не восхищаться мужеством своего оппонента, но именно поэтому хотел, как никогда раньше, доказать ему справедливость своих поразительных теорий. Пользуясь неразберихой, царящей на факультете и в муниципальном отделе здравоохранения, он сумел заполучить тело одного недавно скончавшегося больного, тайком пронес его ночью в анатомичку и на моих глазах ввел ему свой новейший раствор. Покойник открыл глаза, вперил в потолок взор, исполненный несказанной муки, а затем снова ушел в небытие, из которого больше его уже ничто не смогло вывести. Недостаточно свеж, сказал Уэст, жаркий летний воздух не идет им на пользу. Когда мы сжигали тело, нас чуть не застали с поличным, и в дальнейшем Уэст не рисковал больше пользоваться анатомичкой.

В августе эпидемия достигла своего пика. Мы с Уэстом были едва живы от усталости, а вот доктор Хелси действительно скончался, четырнадцатого числа. На скоропалительные похороны декана, состоявшиеся пятнадцатого августа, собрались все его студенты; богатый венок, возложенный ими на гроб, затерялся среди многих других, еще более пышных, присланных влиятельными жителями Аркхема и муниципалитетом. Похороны доктора стали почти государственным событием – он был широко известен своими благотворительными акциями. После погребения все мы пребывали в подавленном состоянии и вторую половину дня провели в баре, где Уэст, хотя и потрясенный смертью главного противника, распространялся, шокируя присутствующих, о своей пресловутой теории. Постепенно все разошлись – кто домой, кто по делам; что же касается нас, то Уэст твердил, что эту ночь надо «хорошенько запомнить».

Позднее хозяйка Уэста показала при допросе, что, когда около двух часов ночи мы входили в его комнату, с нами был третий, которого мы поддерживали с двух сторон; как она сказала мужу, видать, все трое изрядно набрались за ужином.

Это замечание ворчливой матроны вскоре подтвердилось: около трех часов ночи дом огласили истошные вопли, доносившиеся из комнаты Уэста. Когда выломали дверь, то увидели, что мы оба лежим без сознания на залитом кровью ковре – избитые, исцарапанные, истерзанные, – а рядом разбросаны склянки и хирургические инструменты Уэста. Открытое окно говорило, каким образом скрылся наш обидчик, но многих удивило, как он отважился на рис-

кованный прыжок с третьего этажа. Нашли также странного вида одежду, но Уэст, придя в себя, объяснил, что она принадлежит не беглецу, а была взята им на бактериологический анализ для выяснения, каким способом передается болезнетворный вирус. Он распорядился немедленно сжечь одежду в нашем просторном камине. Полиции мы заявили, что ничего не знаем о ночном госте. Уэст сбивчиво объяснил, что познакомились мы с ним в каком-то из баров и он показался нам своим парнем. И я, и Уэст всем своим видом демонстрировали, что относимся к этой истории с юмором и вовсе не настаиваем на розыске нашего драчливого спутника.

Эта же ночь положила начало второму кошмару в Аркхеме, который, на мой взгляд, был ужасней самого мора. На кладбище при церкви Христа произошло зловещее убийство – растерзали сторожа. Убийство было настолько жестоким, что не укладывалось в голове, как мог совершить его человек. Несчастного видели живым уже далеко за полночь, а на рассвете открылась эта жуткая картина. Допросили владельца цирка из соседнего города Болтона, но тот клялся, что ни один зверь не сбежал у него из клетки. Люди, нашедшие тело, заметили, что кровавый след вел к гробнице, а у бетонированного входа в нее обнаружили алую лужицу. Более слабый след вел к лесу, но вскоре терялся.

Следующей ночью, казалось, сами демоны плясали на крышах Аркхема и безумный, странный вой слышался в шуме ветра. По охваченному лихоманкой городу кралась новая беда, которую некоторые считали пострашнее эпидемии и шепотом называли явлением злого духа. Этот неведомый монстр посетил восемь домов, всюду оставляя за собой красную смерть: на счету у него было семнадцать изуродованных, бесформенных трупов. Несколько человек видели его в темноте; по их словам, он был белокожим и напоминал уродливую обезьяну или дьявола в человеческом облике. По останкам можно было предположить, что для утоления голода чудовище частично поедало своих жертв. Из семнадцати человек четырнадцать были убиты им на месте, а трое скончались в больнице.

На третью ночь группа смельчаков во главе с полицией захватила чудовище в одном из домов на Крейн-стрит, неподалеку от университета. Эта операция готовилась очень тщательно, все ее участники могли входить друг с другом в контакт при помощи переговорных устройств. Поэтому, когда из университетского района сообщили, что кто-то скребется в ставни, все оказались наготове. Благодаря предельной осторожности и предусмотрительности пострадали в операции только двое, в целом поимка прошла на редкость удачно. Монстра не убили, а только ранили и срочно отвезли в местную больницу. Присутствовавшие при этом не могли скрыть смешанного чувства изумления и отвращения.

Ведь это был человек, несмотря на свой вызывающий омерзение взгляд, обезьяньей немоте и дьявольскую жестокость. В больнице ему перевязали рану и отправили в Сефтон, где находилась психиатрическая лечебница. Там он в течение шестнадцати лет бился головой об обитые войлоком стены палаты, пока не сбежал при обстоятельствах столь ужасных, что лучше о них не вспоминать. Кстати, особенно отвратительной поисковому отряду из Аркхема показалась тогда в пойманном монстре невероятная, шокирующая схожесть отмытого его лица с просвещенным и самоотверженным мучеником, похороненным всего три дня назад, – с покойным доктором Алленом Хелси, филантропом и деканом медицинского факультета Мискатоникского университета.

Мы с Уэстом испытали особенный ужас и отвращение. Я и сегодня содрогаюсь при одном только воспоминании точно так же, как и тем давним утром, когда забинтованный Уэст пробормотал: «Черт подери! Опять несвежий попался!»

III. Шесть выстрелов в лунном свете

Обычно не разряжают всю обойму, когда достаточно только одного выстрела, но в жизни Уэста многое было необычным. Разве будет, например, свежеиспеченный молодой врач скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, как скрывал их Герберт Уэст? Получив дипломы об окончании Мискатоникского университета, мы могли, наконец-то став практикующими врачами, расстаться с бедностью, поэтому приходилось лишь отмалчиваться на расспросы, почему мы так стараемся найти себе дом на отшибе и поближе к кладбищу для бедных.

Подобная склонность к уединению почти всегда имеет свои причины. Мы также не являлись исключением; нас побуждало к этому наше необычное занятие, вернее, дело всей жизни. На первый взгляд мы были рядовыми врачами, но, если копнуть поглубже, за традиционными заботами проступали великие и пугающие цели: смыслом жизни для Герберта Уэста был неустанный поиск тайны бытия в темных и потаенных областях неведомого. Он надеялся найти путь возвращения хладного кладбищенского праха к вечной жизни. Для подобных исследований требовались необычные материалы, включая свежие человеческие трупы, поэтому следовало жить тихо и незаметно, желательно неподалеку от места скромных погребений.

Мы с Уэстом познакомились в университете, где только один я верил в успех его умопомрачительных экспериментов. Постепенно я стал его постоянным ассистентом, и вот теперь, закончив учебу, мы решили держаться вместе. Для двух врачей непросто найти хорошую практику по соседству, но университетские власти помогли нам, и мы обосновались в Болтоне, фабричном городке неподалеку от Аркхема, где располагался университет. Болтонские ткацкие фабрики – самые крупные в Мискатоникской долине, и местные врачи не очень-то любят пользоваться их разноязыкий рабочий люд. Мы придирчиво выбирали дом и наконец остановились на обветшалом домишке на краю Понд-стрит, далеко отстоящем от ближайшего жилья. От местного кладбища для бедняков его отделял луг, окаймленный с севера узкой полоской довольно густого леса. Расстояние до кладбища было большим, чем нам того хотелось, но ничего поближе не нашлось: дома, расположенные по другую сторону луга, не относились к фабричному району. Впрочем, все складывалось не так уж плохо: по этой безлюдной местности мы добирались незамеченными до мрачного источника нашего так называемого «сырья». Путь был нельзя сказать чтобы близкий, зато, доставляя наши безмолвные трофеи, мы могли не опасаться любопытных взглядов.

Что удивительно, нашими услугами с самого начала пользовалось немало больных, такая практика удовлетворила бы любого начинающего врача, но для ученых, чьи интересы сосредоточены на совершенно других вещах, она была в тягость. Фабричные нравы не отличались особой мягкостью; частые потасовки и пьяная резня доставляли нам много хлопот. Главным же для нас оставалась наша секретная лаборатория, которую мы оборудовали в подвале, установив в ней длинный стол, сверху освещаемый лампами; там мы частенько после полуночи вливали растворы Уэста в вены покойников с бедняцкого кладбища. Уэст самозабвенно экспериментировал, отыскивая компоненты, которые восстанавливали бы жизнедеятельность организма, прерванную тем, что мы называем смертью, но каждый раз наталкивался на все более немислимые препятствия. Раствор приходилось опять и опять готовить заново: тот, что подходил для морских свинок, исключался для человека, каждый же человек, то бишь покойник, требовал особого подхода.

Годились только свежие трупы, ибо малейшее изменение мозговой ткани делало невозможным полноценное воскрешение. В том-то, собственно, и была вся загвоздка, над этим Уэст бился еще в студенческие годы, когда вел секретные опыты с трупами сомнительной сохранности. Результаты частичного или неполноценного воскрешения были намного ужаснее

наших неудач, и у нас обоих сохранились о них жуткие воспоминания. Мы поняли, что играем с огнем, еще в Аркхеме, после первого зловещего эксперимента на брошенной ферме в Медоухилл. Даже Уэст, этот холодный, белокурый, голубоглазый ученый-автомат, часто признавался, что не может отделаться от неприятного ощущения тайной слежки. Ему чудилось, что за ним постоянно кто-то наблюдает; тут, конечно, сыграли свою роль расшатанные нервы, но еще и неотвязные мысли о том, что по крайней мере один из воскрешенных – плотоядное чудовище из больничной палаты в Сефтоне – до сих пор жив. О судьбе другого – нашего первого подопечного – мы так никогда и не узнали.

В Болтоне нам было легче, чем в Аркхеме, доставать подходящие человеческие экземпляры. Не прошло и недели, как удалось заполучить, почти сразу же после похорон, жертву несчастного случая. На операционном столе этот человек открыл глаза, взгляд его был абсолютно осмыслен, но затем действие раствора прекратилось. В катастрофе он потерял руку – видимо, поэтому наш успех оказался неполным. До января у нас были еще три попытки, одна из которых закончилась полным провалом. В следующий раз мы добились сокращения мышц, а вот третий покойник встал на ноги, приведя нас в содрогание, и произнес нечто невразумительное. Затем какое-то время нам не везло: погребения случались редко, а немногочисленные покойники были либо вконец истерзаны болезнью, либо до неузнаваемости изуродованы. Мы вели подробный учет количества смертей и обстоятельств, их вызвавших.

Однажды мартовской ночью нам удалось заполучить покойника еще до похорон. Надо сказать, что, хотя в Болтоне из-за царящих в нем пуританских традиций бокс был запрещен, поединки все же случались. В этих тайных грубых побоищах иногда принимали участие и профессионалы, причем самого низкого пошиба. Той ночью тоже происходил бой, который, как выяснилось, закончился трагически. К нам постучались два перепуганных поляка и шепотом, перебивая друг друга, умоляли пойти с ними к тяжелобольному человеку, прося сохранить визит в тайне. Они привели нас в заброшенный сарай, посреди которого стайка рабочих-эмигрантов теснилась вокруг неподвижного темного тела.

Поединок произошел между Малышом О'Брайеном, неуклюжим увальнем с редким для ирландца крючковатым носом, – парень маячил тут же поодаль, полумертвый от страха, – и Баком Робинсоном по кличке Гарлемская Сажа. Негра нокаутировали, и даже беглый осмотр показал, что из этого нокаута ему никогда не выйти. На вид он был страшен: горилла, да и только! Его необычно длинные руки хотелось назвать передними лапами, а лицо навевало мысли об ужасных тайнах Конго и о мерной дробі тамтама при зловещем свете луны. При жизни покойник, вероятно, выглядел еще безобразней, но ведь в мире столько уродливого! Присутствующие были охвачены страхом: никто не знал, что случится, если дело откроется и вмешается закон. Трудно передать словами их благодарность, когда Уэст предложил им помочь освободиться от трупа. Я понимал, с какой целью он это делает, и не мог унять дрожь.

Яркий лунный свет заливал бесснежную твердь. Натянув на покойника одежду, мы потащили его по безлюдным улицам и пустырям, придерживая с двух сторон, как уже делали однажды ночью в Аркхеме. К своему дому мы подошли со стороны поля, втащили тело через черный ход, спустили его в подвал и поспешно подготовили все необходимое. Панически боясь полиции, мы подгадали так, чтобы наше путешествие не совпало по времени с ночным полицейским обходом. Результат наших манипуляций с трупом равнялся нулю. Омерзительный трофей не реагировал ни на один из растворов, вводимых в его черную руку. Не потому ли, что ранее мы имели дело только с белыми? Рассвет неминуемо приближался, и мы поспешили проделать с нашим мертвецом то же, что и с другими, а именно – отволокли его в лес, граничащий с кладбищем, и похоронили в могиле, вырытой настолько глубоко, насколько позволяла промерзшая земля. Пришлось потрудиться над нею не меньше, чем при погребении нашего последнего покойника – того, что поднялся во весь рост и что-то пробормотал. Светя себе фонариками, мы аккуратно засыпали свежевскопанную землю листьями и сухими вет-

ками и ушли в убеждении, что полиция ни за что не отыщет столь тщательно замаскированную могилу, да еще в таком густом и темном лесу.

Однако на следующий день полиция все не шла у меня из головы, так как один из наших пациентов рассказал, что по городу ползут слухи о поединке и покойнике. У Уэста нашелся еще один повод для беспокойства: днем его вызвали к больной, и это посещение едва не кончилось трагически. У одной итальянки пропал ребенок, мальчик лет пяти. Он ушел еще утром и к обеду не вернулся. Мать сходила с ума от волнения, ее и без того слабое сердце явно сдавало. Ее страхи были смешны – мальчишка и раньше частенько пропадал, но итальянские крестьяне очень суеверны, и эту женщину более напугало некое предзнаменование, нежели сам факт исчезновения. К семи часам утра она скончалась, а ее обезумевший от горя муж набросился на Уэста, проклиная за то, что тот не сумел спасти его жену. Он размахивал кинжалом, друзья с трудом удерживали его, и Уэст ушел, сопровождаемый нечеловеческими воплями, ругательствами, проклятиями и обещаниями скорой расправы. Из-за новой беды несчастный, казалось, совсем забыл о ребенке, а тот все не появлялся, хотя приближалась ночь. Хотели начать поиски в лесу, но все близкие хлопотали вокруг покойной и убитого горем мужа. Понятно, что нервы Уэста были натянуты до предела. Мысли о полиции и о безумном итальянце одинаково не давали нам покоя.

Мы легли спать около одиннадцати часов, но сон мой был неглубок. В Болтоне, этом заштатном городишке, полиция работала отменно, и я не мог не понимать, какая начнется кутерьма, если всплывут события предыдущей ночи. Придется распрощаться с врачебной практикой, а то и сесть в тюрьму. Скверно, что по городу расползлись слухи о поединке. После трех часов ночи мне в глаза стал бить лунный свет, но я не опустил шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то и послышался шум у черного хода.

Я продолжал лежать в полусне, но вскоре в мою комнату постучал Уэст. Он был в халате и тапочках, в одной руке револьвер, в другой – электрический фонарик. Увидев оружие, я понял, что он больше опасается сумасшедшего итальянца, чем полиции.

«Лучше нам вместе посмотреть, кто там, – прошептал он. – Надо его проучить. Но вдруг это пациент? Есть ведь такие идиоты, что лезут с черного хода».

Мы спустились по лестнице на цыпочках, охваченные двойным страхом: и вполне объяснимым в таких обстоятельствах, и тем неподвластным разуму, что овладевает нами в роковые предутренние часы. Возня у дверей продолжалась, становясь все громче. Осторожно отодвинув засов, я распахнул дверь. Но как только луна осветила стоящего за дверью человека, Уэст повел себя странно. Не думая о том, что он может привлечь внимание полиции – чего, слава Богу, не произошло благодаря укромному расположению нашего дома, – мой друг неожиданно, в состоянии крайнего возбуждения, выпустил все шесть пуль в ночного посетителя.

А все дело в том, что гостем нашим был не итальянец и не полицейский. В призрачном свете луны неясно вырисовывалась огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть разве что в кошмарном сне. Иссиня-черный призрак с остекленевшими глазами стоял на четвереньках, весь измазанный землей и запекшейся кровью с налипшими листьями и сухими стеблями. Но самое страшное – из его белоснежных зубов торчала детская ручка.

IV. Вопль мертвеца

Истошный крик одного из наших мертвецов неожиданно вселил в мою душу несказанный ужас перед доктором Гербертом Уэстом, что омрачило последние годы нашей дружбы. Что уж тут говорить, крик, испускаемый покойником, может кого хочешь испугать до смерти, ощущение не из приятных, но я-то привык к подобным штучкам, и мое тяжелое состояние было вызвано особыми обстоятельствами этого дела. Кроме того, как я уже сказал, ужас во мне вызвал совсем не покойник.

Интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я являлся, выходили за пределы обычных интересов провинциального врача. Поэтому, открывая практику в Болтоне, он поселился в уединенном доме неподалеку от кладбища для бедняков. Надо сказать, его единственной страстью было тайное изучение феномена жизни, ее естественного конца, а также возможностей воскрешения мертвых путем вливания стимулирующих растворов. Для этих мрачноватых экспериментов постоянно требовались свежайшие человеческие трупы, ведь хрупкие мозговые клетки разрушались почти мгновенно, а продолжать опыты на животных было бесполезно: каждый вид требовал качественно нового раствора. Невозможно счесть всех загубленных им кроликов и морских свинок, однако опыты на них ни к чему не привели. Полного успеха Уэст еще не добился: ему ни разу не удалось раздобыть достаточно сохранного покойника. Он мечтал испробовать свой раствор на теле, из которого только что ушла жизнь, а клетки все целы и готовы воспринять импульс к тому, чтобы снова восстановить свое функционирование. Чем черт не шутит, а вдруг вторая (искусственная) жизнь, возрожденная такими инъекциями, станет вечной? Вскоре мы, однако, выяснили, что живой человек практически не реагирует на наши вливания. Для создания искусственного движения молекул он должен быть мертв – должен быть трупом, но обязательно свежим.

Эти захватывающие опыты Уэст начал еще в нашу бытность студентами медицинской школы при Мискатоникском университете в Аркхеме, когда мы пришли к убеждению в механистической природе жизни. С тех пор прошло семь лет, но Уэст выглядел все таким же молодым – невысокого роста, чисто выбритый блондин в очках, с тихим голосом. Лишь изредка его голубые глаза загорались холодным огнем, говорившим о крепнущем фанатизме, что неудивительно при столь зловещем характере его деятельности. Наши эксперименты часто заканчивались леденящими душу сценами, весь ужас которых проистекал из неполного воскрешения, когда кладбищенские останки под воздействием различных модификаций нашего эликсира обретали чудовищное, противоестественное и бессмысленное подобие жизни.

Помнится, один из оживших мертвецов издал душераздирающий крик, другой пришел в страшную ярость, избил до бесчувствия нас обоих и сбежал в состоянии дичайшей необузданности (впоследствии его все же засадили в психушку), третий – мерзкое африканское чудище – каким-то образом выбрался из неглубокой могилы и тут же совершил зверское убийство, после чего Уэсту пришлось пристрелить его. Все эти неприятности случались из-за того, что нам были недоступны свежие трупы – разум не пробуждался в воскрешенных, и они совершали чудовищные злодеяния. Страшно было подумать, что кто-то из этих монстров все еще бродит на свободе; эта мысль преследовала нас до того самого момента, когда Уэст исчез при таинственных и жутких обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, расположенной в подвале уединенного болтонского дома, раздался тот истошный вопль, о котором я рассказываю, наши страхи значительно уступали желанию достать наисвежайшие трупы. Уэст прямо помешался на этом, и мне иногда казалось, что он плотоядно поглядывает на каждого живого и пышущего здоровьем человека.

В июле 1910 года проблема приобретения мертвецов нужной кондиции, казалось, была решена. Вернувшись из Иллинойса от своих родителей, у которых долго гостил, я нашел Уэста

в несравненно лучшем настроении. Крайне возбужденный, он сообщил мне, что, по всей видимости, решил проблему свежести исходного материала, подходя к ней с совершенно иной стороны, а именно – искусственного консервирования. Я знал, что Уэст работает над созданием принципиально нового бальзамирующего состава, поэтому сообщение меня не удивило. Однако когда он посвятил меня во все детали, я никак не мог уразуметь, чем это открытие нам может помочь: к тому моменту, когда мертвецы попадают нам в руки, они уже непригодны для экспериментов и никакое консервирование не улучшит положения. Но Уэст, оказывается, все учел и создал свой бальзам в надежде на будущее: а вдруг к нам попадет тело захороненного, только что скончавшегося человека? Ведь случилось же подобное несколько лет тому назад, когда после боксерского матча нам досталось тело погибшего в поединке негра. И впрямь судьба оказалась к нам милостива: в подвале у нас уже лежал труп, которому не грозило тление. Уэст не делал прогнозов относительно того, как пойдет процесс воскрешения и можно ли надеяться на пробуждение разума и памяти покойного. Этому эксперименту надлежало стать важной вехой в наших трудах, посему Уэст сберег тело до моего возвращения, дабы и я мог, как обычно, принять участие в захватывающем действе.

Уэст рассказал мне, как ему удалось заполучить последний экземпляр. Это был с иголочки одетый мужчина в полном расцвете сил. Приехав в наш город для налаживания кое-каких дел на ткацкой фабрике, он проделал изрядный путь по улицам, и когда подошел к нашему дому, чтобы узнать дорогу к фабрике, то был уже изрядно уставшим – сердце так и выпрыгивало из груди. Отказавшись от лекарства, он неожиданно упал замертво.

Уэст не сомневался, что сами небеса ниспослали ему покойника. В краткой беседе незнакомец обмолвился, что о его приезде в Болтон никто не знает, а последующий осмотр карманов мертвеца позволил установить, что прозывался он Робертом Левиттом, прибыл из Сент-Луиса, семьи не имеет, и, следовательно, в случае исчезновения никто не будет его разыскивать. Даже если вернуть ему жизнь так и не удастся, все будет шито-крыто. Захороним останки в лесочке между нашим домом и кладбищем – и все тут. Если же, напротив, попытка наша увенчается успехом, то слава наша будет ослепительна и безгранична. Поэтому Уэст, не раздумывая, ввел незнакомцу в руку бальзам, который должен был сохранить труп в полной свежести до моего приезда. Я сомневался в удачном исходе предприятия, ведь незнакомец, судя по всему, страдал сердечной слабостью, но Уэста это, казалось, не беспокоило. Он рассчитывал добиться на этот раз того, что не удавалось ранее, – пробуждения рассудка и, возможно, воскрешения живого существа в его нормальном облике.

Итак, в ночь на 18 июля 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подземной лаборатории и взирали на белое безмолвное тело, распластанное на столе под ярким светом ламп. Бальзам был поистине чудодейственным: труп пролежал целых две недели, однако не застыл и выглядел по-прежнему свежим. Я был в восхищении. Уэст же на всякий случай еще раз убедился в смерти незнакомца, применив нужный тест и напомнив мне о неприменном и тщательном тестировании: животворный эликсир эффективен только в случае полной биологической смерти. Уэст занялся подготовкой к эксперименту, а я молча наблюдал, потрясенный грандиозностью стоявшей перед моим другом задачи. Эта задача была столь сложна, что он взял все в свои руки, не позволив мне даже прикоснуться к мертвому телу. Сначала он ввел какой-то состав покойнику в запястье рядом с точкой, оставшейся от предыдущего укола. По его словам, состав должен нейтрализовать действие бальзама и расслабить мышцы организма до обычного состояния, тогда животворный эликсир быстро сделает свое дело. Немного спустя, когда по мертвым членам прошла дрожь, Уэст с силой прижал к задержавшемуся лицу мертвеца что-то вроде подушки и держал ее до тех пор, пока тело не перестало сотрясаться. Уэст был бледен, но полон энтузиазма. Он еще несколько раз протестировал своего подопечного и, убедившись в полной его безжизненности, ввел наконец в его левую руку аккуратно отмеренное количество эликсира. Эликсир мы приготовили намного тщательнее, чем прежде,

когда продвигались к цели еще на ощупь. Трудно описать перехватывающее дух волнение, с каким мы ждали признаков жизни у этого первого отвечающего всем необходимым условиям покойника. По возвращении к жизни от него можно было ожидать здоровой речи, возможно, даже рассказа о том, что он видел по ту сторону бездны.

Уэст был материалистом, не верил в существование души, объяснял работу сознания исключительно физиологическими причинами и поэтому не ждал никаких откровений от человека, восставшего из мертвых. Я же, допуская, что теоретически он, может быть, и прав, тем не менее ощущал в себе неясные, интуитивные отголоски примитивной веры моих предков и поэтому взирал на труп с некоторой долей благоговения и с мистическим трепетом. Кроме того, я не мог забыть тот ужасный нечеловеческий вопль, который раздался в ночь нашего первого опыта на заброшенной ферме в Аркхеме.

Очень скоро я понял, что на этот раз разочарование не ждет нас. Бледные щеки покойника, а затем и все заросшее светлой щетиной лицо окрасилось румянцем; Уэст, державший руку на пульсе, кивнул мне со значением, а затем затуманилось и зеркальце, поднесенное к губам мертвеца. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, дыхание становилось слышнее, грудь вздымалась. Мне казалось, что я различаю движение век. Затем покойник открыл глаза – серые, спокойные и живые, но мысль все еще отсутствовала в них, не было даже любопытства.

Мгновение спустя, наклонившись по странной прихоти к порозовевшему уху, я прошептал несколько вопросов, касавшихся других миров, о которых он, возможно, хранил воспоминание. Пережитый мной позже ужас стер большинство этих вопросов из моей памяти, однако я помню последний, который повторил несколько раз: «Где вы были?» Не знаю, получил ли я ответ на предыдущие, хотя мне кажется, что эти красиво очерченные губы не издали ни единого звука, но когда я задал последний вопрос, губы несчастного зашевелились, и он ответил нечто вроде «только теперь», если, конечно, ответ его был сознательным. При этих словах меня охватил восторг: великая цель достигнута – впервые возвращенный к жизни человек осмысленно произнес вразумительные слова. Все случившееся далее не оставляет сомнений: эликсир был приготовлен правильно и действовал, по крайней мере в течение какого-то времени, великолепно – он вернул мертвеца к психической и физической жизни. Но к восторгу, испытанному тогда мною, впервые примешался ужас; нет, я не испугался заговорившего покойника, ужас, который я пережил, породило само деяние, свидетелем которого я являлся, и человек, с которым я связал свою профессиональную судьбу.

Ведь несчастный, придя в себя и вспомнив последние минуты своего пребывания на земле, с искаженным от муки лицом и с выпученными в испуге глазами выбросил, как бы защищаясь, перед собой руки и, прежде чем снова и окончательно впасть в беспамятство, истошно выкрикнул слова, которые по сей день звучат в моем больном мозгу: «Помогите! Проклятый белобрысый дьявол, убери от меня свой шприц!»

V. Кошмар во мраке

Много ходило всяких рассказов об ужасных историях, приключившихся на фронтах мировой войны и не попавших на страницы газет. Некоторые из них доводили меня до полуобморочного состояния, другие заставляли испытывать глубокое тошнотворное отвращение, некоторые же вызывали дрожь и неосознанный порыв оглянуться, не таится ли что в темноте. Но тот ужасный, необъяснимо кошмарный случай, который довелось пережить лично мне, ни в какое сравнение, на мой взгляд, с этими историями не идет.

В 1915 году я служил в чине лейтенанта в канадских войсках, действовавших во Фландрии, и был одним из многих американцев, вступивших в гигантскую бойню прежде своего правительства. Я оказался в армии не по собственной воле, а вследствие того, что в ее рядах пребывал человек, чьим бессменным ассистентом я оставался долгие годы. Это был прославленный бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Доктор Уэст жаждал применить в великой войне свой хирургический опыт и, как только случай представился, увлек за собой и меня, почти против моего желания. Я надеялся, что война разлучит нас: сотрудничество с Уэстом все больше тяготило меня, однако когда он, прибыв в Оттаву, получил при содействии друзей чин майора и властно потребовал, чтобы я непременно ассистировал ему и в новых условиях, у меня не хватило духу отказаться.

Стремление доктора Уэста попасть на войну вовсе не говорило о его особой воинственности или тревоге за судьбы цивилизации. Этот голубоглазый блондин в очках, все такой же худощавый, так и остался холодным как лед интеллектуалом-роботом. В глубине души он наверняка посмеивался над приступами военного патриотизма, время от времени одолевавшими меня, когда я был готов осуждать безучастный нейтралитет других. Однако в сражающейся Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную форму. Желания Уэста резко отличались от обычных, свойственных остальному человечеству желаний и были тесно связаны с той областью медицины, которую он тайно разрабатывал, достигнув в ней ошеломляющих и подчас пугающих результатов. Ему требовалось ни больше ни меньше как постоянно иметь под рукой свежие трупы разной степени расчленения.

В свежих трупах Герберт Уэст нуждался потому, что занимался проблемой воскрешения мертвых. Эта сторона его деятельности была сокрыта от высокопоставленной клиентуры, сделавшей его имя знаменитым вскоре после нашего приезда в Бостон, но зато хорошо известна мне, его старому другу и единственному ассистенту со времен нашего обучения на медицинском факультете Мискатоникского университета в Аркхеме. Именно тогда он начал проводить свои зловещие опыты – сначала на мелких животных, а потом на человеческих трупах, которые мы добывали самыми немыслимыми способами. Уэст изобрел специальный раствор, который вводил трупам в вену, и те, если их не коснулось разложение, реагировали по-разному, но всегда противоестественно. Всякий раз Уэст с трудом подбирал нужную формулу раствора: ведь для каждого организма годился лишь свой, особый состав. Страх одолевал его при воспоминании о неудачах, когда из-за неподходящего препарата или начавшегося трупного разложения мертвецы превращались в монстров. Некоторые из них остались в живых: одного поместили в психиатрическую лечебницу, другие же бродили неизвестно где, и, думая об их возможных, пусть и маловероятных деяниях, Уэст содрогался от ужаса, с трудом скрывая свою нервозность под привычной маской уверенного в себе врача.

Уэст скоро понял, что гарантией успешных экспериментов служит максимальная свежесть трупа, и начал прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы заполучить нужный материал. В колледже и позднее, когда мы работали врачами в фабричном городке Болтоне, я благоговел перед своим другом, но со временем его методы становились все жестче, и во мне поселился страх. Мне не нравился тот плотоядный взгляд, который он бросал на живых, пышу-

щих здоровьем людей, а в один кошмарный вечер, когда мы, спустившись в подземную лабораторию, приступили к эксперименту, я узнал, что наш очередной подопечный, попав к Уэсту, был еще жив. Именно тогда Уэсту впервые удалось пробудить в ожившем мертвце проблеск человеческой мысли, и этот обретенный такой дорогой ценой успех окончательно погубил его.

О том, что он делал в последующие пять лет, я предпочитаю помалкивать. Я не порывал с ним только из страха, хотя был свидетелем сцен столь отвратительных, что человеческий язык отказывается воспроизвести их. Герберт Уэст стал казаться мне еще более зловещим, чем его черное дело. Это случилось после того, как я осознал, что благородное желание ученого продлить жизнь человеку постепенно переродилось у него в нездоровое, отталкивающее любопытство и скрытую некрофилию. Его интерес переродился в извращенный, дьявольский интерес ко всякой, самой чудовищной патологии: он восхищался созданными им чудовищами, которые заставили бы любого нормального человека потерять сознание от страха и отвращения. Словом, за его рафинированной интеллигентностью, за маской утонченного Бодлера хирургии скрывался мертвенный лик Елагабамуса гробниц.

Опасность он встречал невозмутимо, преступления совершал равнодушно. Кульминацией в его перерождении явился, думаю, тот момент, когда он доказал, что жизнь разума может быть восстановлена, и стал искать новые области применения своей энергии, экспериментируя теперь с отдельными частями человеческого тела. Им овладела совершенно сумасшедшая идея о независимости жизненных свойств органических клеток и нервной ткани в отдельных частях организма, и он даже добился некоторого успеха, поддерживая жизнь в почти вылупившемся детеныше одной странного вида, не поддающейся описанию тропической рептилии. Он стремился разрешить два биологических вопроса: во-первых, могут ли сознание и разумные действия сохраняться без участия головного мозга, с помощью лишь спинного и различных нервных центров, а во-вторых, существует ли между отдельными частями того, что было прежде единым организмом, некая нематериальная, неуловимая связь? Ясно, что при такого рода работе требовалось большое количество свежерасчлененных трупов. За ними-то и отправился на войну Герберт Уэст.

В конце марта 1915 года, как-то ночью, в полевом госпитале неподалеку от линии фронта, в Сен-Элуа, произошло фантастическое, незабываемое событие. Даже сейчас я не перестаю задавать себе вопрос: а не было ли все виденное мной дьявольским наваждением? Уэст располагал тогда личной лабораторией, расположенной в отдельном помещении временного госпиталя. Он получил ее, убедив начальство, что лаборатория необходима для работы над методикой лечения тяжелораненых, считавшихся безнадежными. Там, среди своих кровавых трофеев, он работал как мясник, а я так и не смог привыкнуть к той спокойной сосредоточенности, с какой он сортировал и раскладывал отдельные части человеческих тел. Временами он по-прежнему демонстрировал чудеса хирургического искусства, спасая солдат, но все же его главный, значительно менее филантропический интерес был сокрыт от человеческих глаз. Ему постоянно приходилось давать объяснения тем странным, даже в условиях военной мясорубки, звукам, доносившимся из его лаборатории. Среди этих звуков довольно частыми были выстрелы – привычные на поле сражения, они удивляли в стенах госпиталя. Но ожившие органы не предназначались для длительного функционирования и уж тем более для посторонних глаз. Помимо работы с человеческим материалом Уэст продолжал свои изыскания с мышечной тканью эмбриона рептилии. В ней было проще поддерживать жизнь, и мой друг на время целиком посвятил себя работе с ней. В темном углу лаборатории в необычного вида инкубаторе стоял вместительный бачок с эмбриональной тканью, постепенно росшей в объеме и поднимавшейся в бачке, как тесто, что производило на меня отталкивающее впечатление.

В ночь, о которой я говорю, нам повезло: в лабораторию доставили труп человека, который при жизни отличался прекрасными физическими данными и, кроме того, обладал высокой психической организацией, говорившей об утонченной нервной системе. По иронии судьбы,

это был тот самый офицер, который помог Уэсту получить данное место и которому предстояло стать нашим помощником. Более того, в прошлом он тайно изучал теорию воскрешения – в значительной степени под руководством Уэста. Сэр Эрик Морленд Клепем Ли (так его звали) был лучшим хирургом дивизии, майором по званию. Как только слухи о тяжелых боях в районе Сен-Элуа достигли штаба, его срочно направили нам в помощь. Он вылетел на аэроплане, пилотируемом бесстрашным лейтенантом Рональдом Хиллом, но прямо над нами самолет сбили. Ужасная катастрофа произошла у всех на глазах. Хилла искорежило до неузнаваемости; что касается талантливого хирурга, то его голова едва держалась на сухожилиях, тело же осталось неповрежденным. Уэст с жадностью вцепился в безжизненные останки прежнего своего друга и коллеги. Меня передернуло, когда я увидел, как он, окончательно отделив голову от туловища, поместил ее, чтобы сохранить для дальнейших опытов, в свой дьявольский чан с пухнувшей эмбриональной тканью. Само же обезглавленное тело он оставил на операционном столе. Затем, влив в него новую кровь, он сшил порванные в области шеи вены, артерии и нервные волокна, а ужасное отверстие обшил куском кожи, взятой у неизвестного трупа в офицерской форме. Мне было понятно, чего добивался Уэст: он хотел знать, обнаружит ли этот высокоорганизованный организм, лишенный головного мозга, какие-либо признаки той умственной деятельности, которая так отличала сэра Эрика Морленда Клепема Ли. Изучавший при жизни теорию воскрешения, он сам стал теперь безжизненным обрубок и лежал, как бы предлагая себя в качестве ужасного практического пособия.

Я и сейчас вижу, как Герберт Уэст при мертвенном электрическом освещении вводит свой эликсир в руку обезглавленного тела. Мне трудно описать место действия – тошнота подступает к горлу при одной лишь попытке. Могу сказать только, что в этом помещении поселилось безумие: повсюду – рассортированные части тел, куски плоти просто валялись на скользком полу, образуя кровавое месиво, местами достигающее до щиколоток, а в темном углу булькали в чане чудовищные порождения эмбриональной ткани. Переполнив посуду, они, извиваясь, вытекали из нее, спускаясь прямо к голубовато-зеленому пламени горелки инкубатора.

Уэст еще раз обратил мое внимание на прекрасную нервную систему подопытного организма. Это позволяло многого ждать от эксперимента. Интерес Уэста возрастал, по мере того как в тканях все заметнее становились мышечные сокращения. Он ждал подтверждения своей гипотезы, в которую верил все больше: что сознание, разум и сама личность существуют независимо от головного мозга и что в человеке отсутствует объединяющее начало. По его мнению, человек является лишь механизмом, состоящим из большого количества нервных клеток. В таком механизме каждый орган существует сам по себе. Если бы наш эксперимент удался, то тайну жизни можно было бы перенести в категорию мифа. По телу мертвеца все активнее проходили судороги, и вот уже грудь его начала вздыматься. Мы смотрели на него завороженно. Руки беспокойно зашевелились, ноги вытянулись, отдельные мышцы сокращались, выкручиваясь при этом как-то до крайности отвратительно. Затем обезглавленное тело выбросило перед собой руки, – этот жест ясно говорил об отчаянии, осмысленном отчаянии, что подтверждало теорию Герберта Уэста. Значит, нервы сохранили память о последнем действии человека, который пытался выбраться из падающего аэроплана.

Что случилось дальше – с точностью сказать не могу. Возможно, это была галлюцинация, вызванная шоком от того, что здание, в котором мы находились, вдруг стало рушиться на наших глазах – начался артиллерийский обстрел, и в него попал немецкий снаряд. Теперь уже до истины не доискаться, ведь мы с Уэстом были единственными свидетелями. Уэст решил для себя, что это всего лишь галлюцинация, но иногда, незадолго до исчезновения, он говорил мне иное: странно ведь, когда сразу обоим чудится одно и то же. Сам по себе этот жутковатый случай был прост, но за ним стояло нечто необъяснимое.

Тело на столе зашевелилось и стало подниматься, ощупывая вокруг себя пустоту. И вот тут раздалось нечто такое, что язык не повернулся бы назвать голосом: слишком ужасен был звук. Впрочем, это нельзя счесть самым кошмарным, так же как и смысл услышанного нами: «Прыгай, Рональд, прыгай же, ради Бога!» Самым страшным был источник звука.

Он доносился из того самого чана, что стоял в темном углу.

VI. Адские легионы

После исчезновения в прошлом году доктора Герберта Уэста полиция с пристрастием допрашивала меня. Они полагали, что я что-то утаиваю, а может, подозревали и кое-что похуже, но я так ничего и не рассказал им – услышь они правду, все равно не поверили бы. Они знали, что деятельность Уэста носила несколько необычный характер: его будоражащие воображение эксперименты по воскрешению мертвых велись так давно, что слухи о них не могли не просочиться. Однако финал всей этой истории был настолько ошеломляющим, а разразившаяся катастрофа носила столь демонический характер, что даже мне, много повидавшему, порой казалось, что я брежу.

Долгое время я был ближайшим другом Уэста, его единственным, посвященным во все тайны ассистентом. Мы познакомились еще будучи студентами-медиками, и я был участником его первых опытов. Ему удалось создать раствор, который при введении в вену недавно скончавшегося человека возвращал его к жизни. Подобное занятие требовало изобилия свежих трупов, что приводило иногда к противозаконным действиям. Результаты экспериментов ужасали: Уэст пробуждал к жизни куски омерзительной мертвечины, которая, и ожив, оставалась все той же отвратительной и неразумной плотью. Так повторялось постоянно: ведь для возрождения разума требовалось тело только что испутившего дух покойника, у которого процесс разложения еще не затронул чувствительнейшее вещество мозговых клеток.

Эта бесконечная потребность в свежих трупах и погубила Уэста. Достать их было трудно, и вот в один роковой день он заполучил тело живого и полного сил человека, после чего ввел ему сильнодействующий алкалоид, который убил его на месте. Тогда-то и произошел первый удачный эксперимент Уэста – на какое-то время сознание вернулось к покойному, но мой друг заплатил за успех дорогой ценой: душа его омертвела, я уловил это даже по жестокому выражению глаз. Порой он оценивающе посматривал на физически крепких людей, особенно если при этом они отличались тонкой душевной организацией. Со временем, ловя на себе заинтересованный взгляд Уэста, я и сам стал его побаиваться. Люди, не знавшие причин нового интереса ко мне, заметили мой страх, и после исчезновения Уэста этот факт стал источником нелепых подозрений.

По существу, Уэст был еще больше напуган, чем я: противоестественные деяния превратили его жизнь в сущий ад, он шарахался от каждой тени. С одной стороны, он опасался полиции, но по большей части его страх носил более глубокий и смутный характер и был порожден теми чудовищами, в которых он влил из своего шприца жизнь и которым затем каким-нибудь образом удалось улизнуть. Обычно его опыты заканчивались выстрелом из пистолета, но несколько раз Уэст оказался недостаточно расторопен. Однажды такой монстр сумел как-то выбраться из могилы; вскоре, правда, он снова туда приполз, оставив следы ногтей, разрывавших свежую землю. А один профессор из Аркхема после воскрешения заделался людоедом, его пришлось отловить и силой засадить в сефтонскую психиатрическую лечебницу, где он, так и не опознанный властями, в течение шестнадцати лет бился головой о стену. О других опытах Уэста даже затруднительно говорить – в последние годы энтузиазм ученого выродился в нездоровую, эксцентричную манию: все свое мастерство он вкладывал не в воскрешение людей, а в оживление отдельных частей человеческого тела, вживляемых им порой в другие организмы. Ко времени своего исчезновения Уэст уже переступил все границы дозволенного: о многих поистине дьявольских его экспериментах нельзя было даже упоминать в печати. Этим переменам в деятельности моего друга очень способствовала мировая война, в которой мы оба участвовали как хирурги.

Говоря, что Уэст испытывал смутный страх перед своими чудовищными творениями, я имел в виду прежде всего двойственную природу этого страха. Частично он проистекал

от сознания, что кое-кто из этих безымянных монстров бродит на свободе, а частично – из опасения, что при определенных обстоятельствах они могут быть опасны для него самого. Усугублялась его тревога и отсутствием каких-либо сведений о них. Уэст знал судьбу лишь одного – жалкого узника психиатрической лечебницы. Еще один источник смутных волнений возник после совершенно фантастического эксперимента, который Уэст провел в 1915 году, когда служил в канадских вооруженных силах. В самый разгар сражения он воскресил майора Эрика Морленда Клепема Ли, военного хирурга и своего приятеля, который хорошо знал о наших опытах и мог бы сам участвовать в них. У него была отсечена голова, и Уэст имел возможность проверить свою гипотезу о наличии элементов сознания в туловище. Успех поджидал экспериментатора как раз в ту минуту, когда немецкий снаряд попал в здание, где мы ставили опыты. В движениях ожившего туловища явно присутствовала осмысленность, и, пусть это покажется вам невероятным, мертвец заговорил, хотя звуки членораздельной речи, как я с отвращением понял, издала отсеченная голова, лежавшая в чану в темном углу лаборатории. Снаряд подошел, можно сказать, вовремя, хотя Уэст был не до конца убежден, что из-под обломков выбрались только мы двое. Иногда он строил ужасные предположения о том, сколько бед может натворить обезглавленный хирург, умеющий воскрешать мертвых.

Последним местом жительства Уэста был красивый старинный дом, окна которого выходили на кладбище первых поселенцев Бостона. Он остановил свой выбор на этом жилище по причинам чисто символическим: все захоронения на кладбище относились к колониальному периоду и поэтому не представляли интереса для ученого, который нуждался в свежайших покойниках. Расположенная в подвальном помещении лаборатория была выстроена рабочими-иммигрантами; в ней помещалась огромная кремационная печь, в которой быстро и без остатка уничтожались тела, их части, а также искусственные соединения, словом, все то, что оставалось после зловещих экспериментов – безнравственных утех хозяина дома. Рабочие, копая подвал, наткнулись на старинную кирпичную кладку; было ясно, что это ход на кладбище, однако он пролегал так глубоко, что не мог вести ни к какой из известных нам гробниц. Прикинув так и эдак, Уэст пришел к выводу, что ход связан с тайником под склепом семейства Эверилл, последнее захоронение в котором относилось еще к 1768 году. Я присутствовал при осмотре сырых, пропитанных селитрой стен туннеля, сделанного при помощи одних только лопат и мотыг, и приготовился пережить очередное острое ощущение, сочтя, что мой друг не замедлит покуситься на вековые тайны, сокрытые в гробнице. Но Уэст был уже не тот. Обретенная в последнее время опасливость пересилила природное любопытство, и он, преодолев искушение, приказал рабочим ничего не трогать, а сам ход заложить и заштукатурить. Так этот тайник и оставался, вплоть до той самой ужасной ночи, в тесном соседстве со стенами секретной лаборатории.

Нужно понять, что когда я говорю о деградации Уэста, то прежде всего имею в виду его нравственный, сокрытый от глаз облик. Его внешний вид, напротив, был все тот же: уравновешенный, хладнокровный, худощавый блондин в очках, несколько с возрастом не постаревший – ни годы, ни испытания, казалось, не отразились на нем. Он выглядел невозмутимым, и даже вспоминая изрытую когтями могилу или кровожадное существо, которое царапало и грызло решетки в Сефтоне, только непроизвольно оглядывался при этом по сторонам.

Тучи сгустились над Гербертом Уэстом однажды вечером, когда мы сидели в нашем общем кабинете. Читая газету, он иногда поглядывал на меня. На одной измятой странице его поразил заголовок – словно когти безымянного чудовища впились в него спустя шестнадцать лет: в сефтонской психиатрической лечебнице, расположенной в пятидесяти милях от нас, произошло событие невероятное и пугающее, которое потрясло местных жителей и озадачило полицию. Рано утром группа неизвестных в полном молчании вошла в лечебницу; один из них, очевидно, разбудил медицинский персонал. В военной форме, сурового вида, он говорил не разжимая губ, голос его словно бы исходил из большого черного портфеля, который

он держал в руках. Его безжизненное лицо было ослепительно красивым, но когда на него упал свет, управляющий чуть не умер со страха: лицо у пришельца было восковым, а глаза – из цветного стекла. По-видимому, он перенес какую-то травму. За ним следовал настоящий гигант, отвратительный гориллоподобный субъект с синюшным лицом, обезображенным непонятной болезнью. Предводитель потребовал, чтобы им выдали привезенного шестнадцать лет назад из Аркхема монстра с каннибальскими наклонностями, а выслушав отказ, подал своей команде знак, и тут началось нечто несусветное. Дьявольские исчадия крушили все вокруг, избивали и рвали зубами тех служащих, которые не успели скрыться. Они освободили-таки ужасное чудовище и удалились, оставив после себя четыре трупа. Те из пострадавших, которые могли кое-как говорить, не впадая при этом в истерику, клялись, что нападавшие скорее были похожи не на людей, а на роботов, управляемых своим вождем с восковым лицом. Когда наконец подоспела помощь, ни предводителя, ни его безумную команду не удалось разыскать – их и след простыл.

Прочитав эту заметку, Уэст погрузился в глубокую прострацию. Ровно в полночь раздался звонок в дверь, чрезвычайно его напугавший. Слуги спали наверху, и открывать дверь пошел я. Позднее я рассказывал полиции, что на улице не было никакого экипажа, а у дверей стояли несколько странного вида субъектов с большим квадратным ящиком, который они внесли в холл. При этом один из них пробормотал каким-то неестественным голосом: «Экспресс подан». Они вышли из дома гуськом и направились, как мне показалось, к старому кладбищу, с которым соседствовал дом. Уэст спустился вниз и стал рассматривать ящик, когда я уже захлопнул за ними дверь. На ящике площадью около двух квадратных футов были написаны адрес и имя Уэста, а также имя и адрес отправителя: Эрик Морленд Клепем Ли, Сен-Элуа, Фландрия, – несомненно, тот самый доктор Клепем Ли, чье обезглавленное тело Уэст оживил шесть лет тому назад во Фландрии и чья отсеченная голова заговорила как раз в тот момент, когда в наш госпиталь попал немецкий снаряд.

Не могу сказать, что Уэст выглядел взволнованным. Его состояние было намного хуже. Он сказал торопливо: «Мне конец, но сначала нужно сжечь вот это». Взяв ящик, мы понесли его вниз, в лабораторию, прислушиваясь к малейшему шороху. Многого я не помню – неудивительно, если учесть обстановку, – но заявляю категорически: тело самого Герберта Уэста я не сжег, это чудовищная ложь. Вдвоем мы запихнули ящик в печь, так и не открыв его, закрыли заслонку и включили электричество. Из ящика не донеслось ни единого звука.

Уэст первым заметил, как со стены, за которой проходил подземный ход, посыпалась штукатурка. Я хотел было убежать, но он остановил меня. На моих глазах в стене образовалась дыра, из которой пахло ледяным холодом могилы и гнилостным запахом тления. В полной тишине отключился свет, и в отверстии, на фоне фосфоресцирующей преисподней, стали видны некие молчаливо трудившиеся существа, которые могла создать только извращеннейшая из фантазий. Некоторые своими очертаниями напоминали людей, другие напоминали их лишь частично, третьи вообще не напоминали никого. Более разношерстную компанию трудно было себе представить. Они безмолвно, камень за камнем, разбирали замурованную стену. Когда отверстие стало достаточно большим, один за другим они вошли в лабораторию во главе с вожаком, чья несравненной красоты голова была вылеплена из воска. Следовавшее за ним чудовище, во взгляде которого светилось безумие, набросилось на Уэста. Тот не сопротивлялся и не издал даже звука. Тут все они подскочили к нему и прямо у меня на глазах разорвали на куски, которые и унесли с собой в свой отвратительный подземный мир. Воскоголовый вожак в форме офицера канадской армии нес его голову. В голубых глазах моего друга навсегда застыл ужас.

Слуги нашли меня утром без сознания. Уэст исчез. В печи обнаружили непонятного происхождения пепел. Полицейские допрашивали меня, но что я мог сказать? Они не усматривали связи между сефтонской трагедией и исчезновением Уэста, не верили в ночной приход людей

с ящиком. Я рассказал им о подземном ходе, но они со смехом указали мне на неповрежденную стену. Тогда я замолчал. Они решили, что я либо сумасшедший, либо убийца. Может, я и правда сошел с ума. Но этого не произошло бы, не будь эти дьявольские отродья такими молчаливыми.

1922

Музыка Эриха Цанна

Я самым тщательным образом изучил карты города, но так и не смог найти на них улицу д'Осейль. Карты эти были не только современные, ибо мне известно, что названия улиц нередко меняются. Напротив, я тщательно изучил историю этих мест и, более того, лично обследовал все те районы, где могла бы находиться улица, известная мне как д'Осейль, вне зависимости от табличек с названиями и вывесок. Но несмотря на все эти усилия, вынужден признать тот пристыдный факт, что не смог отыскать дом, улицу и даже приблизительно определить район, где в последние месяцы нищей жизни, будучи студентом университета, изучающим метафизику, я слушал музыку Эриха Цанна.

В моей памяти есть провалы, но это вовсе не удивительно, ибо за время жизни на улице д'Осейль мое как физическое, так и умственное здоровье оказалось серьезно подорвано, и потому я не в состоянии вспомнить ни одного из немногочисленных тамошних знакомых. Но то, что мне не удастся отыскать само это место, кажется мне крайне странным и поистине обескураживающим, ибо располагалось оно не далее чем в получасе ходьбы от университета и обладало рядом весьма специфических особенностей, которые трудно забыть любому, кто хотя бы однажды там побывал. Мне не удалось найти ни одного человека, побывавшего на улице д'Осейль.

Улица эта пересекала по массивному мосту из черного камня темную реку, текущую между огромными кирпичными складскими строениями с помутневшими окнами. Берега реки постоянно скрывала тень, как если бы дым расположенных поблизости фабрик навечно закрыл от нее солнце. Сама река была источником особого зловония, какого я не встречал более нигде, и это когда-нибудь поможет мне отыскать это место – я тут же узнаю его по запаху. За мостом сначала проходили огражденные перилами и мощенные булыжником улицы, а затем начинался подъем, сперва относительно пологий, но потом, как раз совсем рядом с д'Осейль, совсем крутой.

Мне нигде более не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как д'Осейль. Почти подъем на скалу, закрытый для любого вида транспорта, поскольку местами тротуар на ней сменялся лестничными ступенями, упиравшимися наверху в высокую, увитую плющом стену. Мостовая в разных местах была разная: местами каменные плиты, где-то обычный булыжник, а то и просто голая земля с пробивающимися серовато-зелеными побегами какой-то растительности. Дома – высокие строения с остроконечными крышами, невероятно древние и опасно накренившиеся в разные стороны. Кое-где как бы падавшие друг навстречу другу дома почти смыкались крышами, образуя подобие арки; конечно, в таких местах всегда стоял полумрак. Между некоторыми домами через улицу были перекинuty соединявшие их мостики.

Обитатели этих мест произвели на меня особое впечатление. Поначалу мне казалось, что это от их замкнутости и неразговорчивости, но потом я решил, что причина в том, что все они очень старые. Не знаю, как получилось, что я решил поселиться на этой улице, но я был в то время немного не в себе. Ввиду постоянной нехватки денег мне пришлось сменить немало убогих мест проживания, пока я наконец не набрел на тот покосившийся дом на улице д'Осейль, в котором распорядился паралитик по фамилии Бландо. Это был третий от конца улицы дом и самое высокое на ней здание.

Моя комната располагалась на пятом этаже и была единственным заселенным на нем помещением, поскольку в этом доме почти никто не жил. В ночь после моего вселения я услышал странную музыку, доносившуюся из спрятанной под заостренной крышей мансарды, и на следующий день спросил о ней у Бландо. Он ответил мне, что играл на виоле старик-немец, немой и чудаковатый, подписывающийся «Эрих Цанн», подрабатывающий по вечерам в оркестре какого-то дешевого театра; и добавил, что этот Цанн любит играть по вечерам,

по возвращении из театра, и потому специально выбрал самую высокую, изолированную комнату в мансарде, слуховое окно которой – единственное место на всей улице, откуда открывается вид на панораму по ту сторону ограничивающей улицу стены.

С того времени я каждую ночь слышал музыку Цанна, и хотя она определенно мешала мне заснуть, я был очарован ее полным таинственностью звучанием. Слабо разбираясь в музыкальном искусстве, я был уверен, что все эти созвучия не имеют ничего общего с тем, что мне доводилось слышать ранее, и сделал вывод, что этот старик – композитор невероятно оригинального склада. Чем дольше я слушал, тем сильнее восхищался, и наконец через неделю набрался смелости и решил познакомиться со стариком.

Как-то вечером я подстерег в коридоре возвращавшегося с работы Цанна и сказал ему, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи, как он играет. Он был невысок ростом, тщедушный, сутулый мужчина в потертой одежде, с голубыми глазами на забавном, похожем на физиономию сатира лице и почти лысой головой; его первой реакцией на мои слова были, как мне показалось, гнев и страх. Мое явное дружелюбие, однако, успокоило его, и он неохотно махнул, призывая следовать за ним по темной, скрипучей и расшатанной лестнице на мансарду. Его комната была одной из двух под крутой крышей, а именно западной, со стороны высокой стены, в которую упиралась улица. Помещение было довольно просторным и казалось еще больше из-за необычной скудости обстановки и общей крайней запущенности. Из мебели здесь были только узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу хаотично лежали груды нотных тетрадей. Стены комнаты были совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки, в то время как изобилие пыли и паутины придавало помещению скорее вид необитаемого, чем жилого. Очевидно, представление Эриха Цанна о комфорте в жилище лежало далеко в стороне от традиционных воззрений на этот счет.

Жестом предложив мне садиться, немой старик закрыл дверь, задвинул большой деревянный засов и зажег еще одну свечу в дополнение к той, с которой пришел. Затем он извлек свою виолу из побитого молью футляра и уселся с ней на самый удобный из стульев. Пюпитром он не пользовался и, не поинтересовавшись моими пожеланиями, играя по памяти, более чем на час заворочил меня мелодиями, подобными которым я никогда еще не слышал; мелодиями, которые, должно быть, были его собственного сочинения. Человеку, не разбирающемуся в музыке, описать их характер попросту невозможно. Это походило на фуги с периодически повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я для себя отметил, что в них совершенно отсутствовали те полные таинственности мотивы, которые я время от времени слышал по ночам из своей комнаты.

Те таинственные мотивы я хорошо запомнил и даже нередко пытался неумело насвистывать их, и потому, как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не мог бы он исполнить какой-то из них. Как только я завел об этом речь, его лицо сатира утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он только что играл, и на нем вновь появилась смесь гнева и страха, замеченная мною в первый момент нашей встречи. Я начал уже было его уговаривать, восприняв это как старческий каприз, и даже попытался вызвать у хозяина квартиры тот самый музыкальный настрой, насвистев ему несколько запомнившихся мне мелодий из тех, что я слышал накануне ночью. Но продолжалось все это не более нескольких секунд, ибо едва немой музыкант узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как его лицо исказила неописуемая гримаса, а длинная, холодная, костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить эту грубую имитацию. Сделав это, он еще раз продемонстрировал свою эксцентричность, бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окошка, словно опасаясь, что оттуда кто-то появится – что было вдвойне нелепо и абсурдно, поскольку комната старика располагалась на большой высоте, выше крыш соседних домов, а кроме того, как сказал мне консьерж, это было единственное окно, из которого можно посмотреть за стену в конце улицы.

Взгляд старика напомнил мне эти слова Бландо, и у меня возникло желание выглянуть из этого окошка и полюбоваться зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по ту сторону холма, доступного из всех обитателей улицы д'Осейль одному лишь сторбленному музыканту. Я направился к окну и хотел было раздвинуть ужасного вида шторы, когда немой жилец вновь подскочил ко мне, с еще более страшной гримасой; он стал кивать головою на дверь и обеими руками потащил меня в том же направлении. Эта выходка старика вызвала у меня отвращение, я потребовал отпустить мою руку и сказал, что немедленно уйду. Он ослабил хватку, а заметив мое возмущение и обиду, похоже, несколько успокоился. Он снова сжал мою руку, но на сей раз в более дружелюбной манере, подталкивая меня к стулу; затем с задумчивым видом подошел к захламленному столу и стал писать карандашом на вымученном французском, какой бывает у иностранцев.

Записка, которую он наконец протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость и простить его. Цанн написал, что он стар, одинок и подвержен странным приступам страха и нервным расстройствам, имеющим отношение к его музыке и к некоторым другим вещам. Ему понравилось, как я слушал его игру, и он будет рад, если я приду снова, но просил не обращать внимания на его чудачества. Но он не может при посторонних исполнять свои таинственные мотивы и не выносит, когда их воспроизводят другие; кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди трогают какие-либо вещи в его комнате. До нашей беседы в коридоре он не подозревал, что я слышал его игру у себя в комнате, и будет рад, если я при содействии Бландо переселюсь куда-нибудь пониже, где не буду слышать его по ночам. Он написал, что готов сам доплачивать разницу в арендной плате.

Разбирая его ужасный французский, я стал к нему более снисходительным. У него, как и у меня, физическое и нервное расстройства, а погружение в метафизику приучило меня быть добрее к людям. В тишине от окна донесся какой-то слабый стук – наверное, на ночном ветру задрезбжали ставни, – и я почему-то вздрогнул от него почти так же, как и Эрих Цанн. Дочитав записку, я пожал музыканту руку, и расстались мы друзьями.

На следующий день Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного обивщика мебели. На четвертом этаже никаких жильцов не было.

Вскоре я обнаружил, что благорасположенность Цанна к моему обществу значительно меньше, чем это казалось тогда, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Сам он меня не приглашал, а когда я заходил по собственной инициативе, он казался встревоженным и играл явно без души. Происходило это всегда по ночам – днем Цанн всегда спал и никого не принимал. Моя симпатия к нему вовсе не росла, хотя и сама комната в мансарде, и доносившаяся из нее таинственная музыка сохраняли для меня непонятную притягательность. Меня почему-то тянуло выглянуть из того окна, посмотреть через стену на тот склон, который я никогда не видел, на поблескивающие крыши и шпили по ту сторону. Как-то раз я поднялся в мансарду, когда Цанн был в театре, но дверь оказалась заперта.

Преуспел я только в том, что продолжал подслушивать ночную игру старого немого музыканта. Вначале я прокрадывался на бывший свой пятый этаж, затем набрался смелости и взбирался по скрипучей лестнице на самый верх. Стоя на мансарде, в узком холле перед закрытой дверью с прикрытой замочной скважиной, я нередко вслушивался в звуки, наполнявшие меня смутным страхом – словно я стал причастным к озадачивающему чуду и непонятной тайне. Нельзя сказать, что эти звуки были зловещими – нет, не были; просто ничего подобного этому звучанию не было на земле, а порой оно казалось симфоническим, таким, что трудно было поверить, что оно создается одним-единственным музыкантом. Несомненно, Эрих Цанн был каким-то самородным гением. Проходили недели, и его музыка становилась все более необузданной, даже неистовой, а сам он заметно осунулся и стал выглядеть еще более жалким. Теперь

он отказывался принимать меня в любое время суток, а если мы встречались на лестнице, уклонялся от разговоров.

Однажды ночью, стоя возле его двери, я вдруг услышал, что звучание виолы сделалось почти хаотическим набором звуков; свистопляска, заставившая меня усомниться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с ней из-за запертой двери мансарды не доносились горестные подтверждения того, что там действительно происходит что-то ужасное – жуткие, невразумительные стоны, какие мог издавать только немой, которые могли родиться лишь в мгновения сильнейшего страха или мучений. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа не было. Затем я еще подождал в темном холле, вздрагивая от холода и страха, пока не услышал шорох, явно свидетельствующий, что несчастный музыкант пытается подняться с пола, опираясь на стул. Будучи убежденным, что он только что очнулся от внезапного припадка, я возобновил попытки достучаться до него, произнося при этом ободряющим тоном свое имя. Судя по звукам, Цанн доковылял до окна, закрыл не только его створки, но и ставни, после чего доковылял до двери и с трудом, с заминками, отпер ее. На сей раз я несколько не сомневался, что он искренне рад моему приходу, ибо лицо его буквально светилось от радости при виде меня, в то время как он цеплялся за мой плащ наподобие того, как ребенок хватается за юбку матери.

Дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам опустился в другой, рядом с которым на полу небрежно валялись его виола и смычок. Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, непонятно почему покачивая головой, но при этом странным образом к чему-то внимательно и напряженно прислушиваясь. Через какое-то время он, похоже, успокоился, прошел к столу, написал короткую записку, передал ее мне, после чего вернулся к столу и принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он взывал к моему милосердию и просил ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит более подробные объяснения, уже по-немецки, о тех чудесах и кошмарах, что его окружают. Я ждал, а немой музыкант водил карандашом по бумаге.

Прошло, наверное, около часа, пока я сидел, наблюдая, как старик исписывает один лист за другим, и вдруг заметил, что он вздрогнул, словно чего-то испугался. Без сомнения, он смотрел на зашторенное окно и с ужасом прислушивался. Тогда мне почудилось, что я расслышал какой-то звук; правда, вовсе не пугающий, но скорее необычайно низкую и доносящуюся откуда-то издалека мелодию, будто бы ее играл неведомый музыкант в одном из соседних домов или где-то за высокой стеной, заглянуть за которую мне пока не доводилось. На Цанна звук этот произвел устрашающее воздействие – отбросив карандаш, он резко поднялся, схватил свою виолу и принялся заполнять ночную тишину дичайшими мелодиями, подобные которым я слышал только стоя под его дверью.

Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Цанна в ту страшную ночь. Ничего более страшного мне слышать еще не доводилось, а кроме того, на сей раз я видел выражение лица музыканта, который словно бы испытывал чистейший ужас. Он старался производить как можно больше звуков, словно хотел что-то отогнать, услатить прочь – не могу представить, что именно, но, судя по всему, довольно жуткое. Его игра скоро приобрела фантастическое, бредовое, истеричное звучание и все же продолжала нести на себе отпечаток несомненной музыкальной гениальности этого странного старика. Я даже разобрал мотив – это была бурная венгерская пляска, из тех, что часто используются в театрах, и в тот же момент автоматически отметил, что впервые слышу, чтобы Цанн исполнял чужое произведение.

Громче и громче, яростнее и яростнее взвивались визжащие и стонущие звуки отчаянной игры на виоле. Сам музыкант покрылся крупными каплями пота и кривлялся, как обезьяна, то и дело поглядывая на зашторенное окно. При звуках его бешеных мотивов мне представлялись сумрачные фигуры сатиров и вакханок, несущиеся в пляске среди бурлящих облаков, дыма и сверкающих молний. А затем мне показалось, что я расслышал более пронзительный,

но спокойный звук, исходящий определенно не от виолы – степенный, размеренный, полный скрытого значения и чуть насмешливый, доносящийся откуда-то издалека с запада.

И сразу же в порывах завывающего за окном ветра застучали ставни – словно бы отреагировав на безумную музыку. Визгливая виола Цанна теперь исторгала из себя такие звуки, на которые, как мне прежде казалось, этот инструмент не способен. Ставни загрохотали еще громче, соскочили с защелки и стали оглушительно биться об оконную раму. Затем от непрерывных сильных ударов стекло со звоном лопнуло, и в комнату ворвался леденящий ветер, из-за чего зашипели сальные свечи и зашуршали исписанные листы, на которых Цанн начал раскрывать свою страшную тайну. Я посмотрел на старика и увидел, что его взгляд лишен какой-либо осмысленности. Его голубые глаза заметно выпучились, остекленели и бессмысленно пялились, а отчаянная игра переросла в слепую, механическую, невообразимую оргию неистовых звуков, описать которую пером невозможно.

Внезапный порыв ветра, более сильный, чем другие, подхватил исписанные листы и потащил их к окну. Я отчаянно кинулся спасать их, но они исчезли в ночи прежде, чем я оказался возле окна. Тогда я вспомнил про свое давнее желание выглянуть из того окна – единственного окна на улице д’Осейль, из которого можно заглянуть за стену и увидеть город по ту сторону холма. Ночь была темной, но городские огни всегда заметны издалека, и я ожидал увидеть их несмотря на дождь и ветер. Тем не менее когда я под шипение свеч и завывания безумной виолы выглянул в это расположенное выше всего прочего слуховое окно, то не увидел ни простирającegoся города, ни приветливого света уличных фонарей, но только беспредельное черное пространство, невообразимое пространство, оживленное движением и музыкой, не схожее ни с чем на земле. И пока я стоял и смотрел в ужасе, порыв ветра задул обе свечи, оставляя меня окутанным жестокой и непроницаемой темнотой, с хаосом и крошечным адом перед глазами и демоническими завываниями отгоняющей тьмы виолы за спиной.

Не имея возможности зажечь свет, я отшатнулся назад, затем наткнулся на стол, опрокинул стул и наконец двинулся туда, где в темноту исторгалась ужасающая музыка. Пусть и не представляя, с какой силой мне довелось столкнуться, я должен был попытаться спасти себя самого и Эриха Цанна. В какой-то момент я ощутил холодное прикосновение и пронзительно вскрикнул, но голос мой потонул в зловещем плаче виолы. Внезапно в меня ткнулся конец обезумевшего смычка, и я понял, что музыкант совсем близко. Продолжая двигаться на ощупь, я коснулся спинки стула Цанна, затем отыскал его плечи и принялся трясти, пытаюсь привести старика в чувство.

Он не отреагировал, тогда как виола продолжала оглушительно завывать. Я поднял руки к его голове, остановил его машинальное кивание и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спастись бегством от непонятных ночных созданий. Но он ни ответил, ни прекратил своей ошалелой игры, пока все на этой мансарде не пустилось в пляс в странных порывах и завихрениях ветра. Когда моя рука коснулась уха старика, я вздрогнул, не понимая, почему; не понимая, пока не ощупал его неподвижное лицо – ледяное как лед, окоченевшее, без признаков дыхания, пялящееся остекленевшими глазами в пустоту. Затем каким-то чудом я отыскал входную дверь и массивный деревянный засов на ней, после чего бросился в дикой спешке прочь, подальше от этого нечто с остекленевшими глазами и от мерзких завываний его проклятой виолы, ярость которых все усиливалась.

Я прыгал, скользил, перелетал через ступени бесконечной лестницы темного дома; мчался беспamięтно по узкой и крутой улочке с покосившимися домами; сбегал по булыжнику и ступеням к расположенным ниже улицам и зловонной, зажатой в высоких берегах реке; пытаясь, пересек огромный темный мост, чтобы оказаться на более широких, светлых улицах и знакомых мне бульварах; все эти ужасные впечатления навечно остались в моей памяти. И насколько я помню, ветра на улице не было, как и луны, а вокруг мерцали городские огни.

Несмотря на тщательнейшие поиски и расспросы, мне так и не удалось найти улицу д'Осейль. Но я и не особенно сожалею ни о самой улице, ни о потерянных в невообразимой бездне исписанных мелким почерком листах, которые одни только могли бы раскрыть мне тайну музыки Эриха Цанна.

1922

Затаившийся страх

I. Тень на печке

В ночь, когда я направлялся в заброшенный особняк на Горе Бурь, чтобы понять, что же такое этот затаившийся страх, в небе гремели грозовые раскаты. Я был не один: страсть ко всему сверхъестественному и ужасному тогда еще не сопровождалась тягой к безрассудному риску, которая впоследствии превратила мою жизнь в нескончаемую цепь опасных предприятий и в литературе, и в жизни. Со мной были два преданных и мужественных друга, призванных мною, когда пришла на то пора. Эти люди и раньше сопровождали меня в моих небезопасных вылазках – именно в таких спутниках я нуждался.

Мы покинули селение, соблюдая строжайшую конспирацию, чтобы не привлечь внимания журналистов: те так и кружили вокруг в надежде что-нибудь пронюхать после кошмарных событий прошлого месяца, прозванных «ползучей смертью». Впоследствии я жалел, что ускользнул от репортеров – их присутствие могло пригодиться. Прими они участие в нашем походе, мне не пришлось бы так долго хранить одному ужасную тайну из страха прослыть сумасшедшим или рехнуться на самом деле. Теперь, позволив наконец себе выговориться, чтобы не стать законченным маньяком, я жалею, что не сделал этого раньше. Ведь только одному мне известно, что таит в себе эта безлюдная таинственная гора.

Проехав в автомобиле несколько миль по холмистой, заросшей девственным лесом местности, мы оказались у подножья горы. Во мраке ночи это место выглядело еще более зловещим, чем днем, при обычном теперь стечении любопытствующего народа. Мы с трудом сдерживались, чтобы не включить фары, свет которых мог бы привлечь внимание. Чем-то необычным веяло от этого ночного пейзажа, и мне кажется, я почувствовал бы некую скрытую опасность, даже ничего не зная о случившемся здесь ужасном событии. Никакой живности поблизости не было – звери, как никто, ощущают близость смерти. Старые, иссеченные молниями деревья казались неестественно большими и искривленными, остальная же растительность была на удивление роскошной и обильной. Странные продолговатые холмики и бугры, возвышающиеся над землей, кое-где глубоко взрытой, а кое-где заросшей сорной травой, напоминали своими очертаниями гигантских змей и человеческие черепа.

Страх поселился на Горе Бурь более ста лет назад. Об этом я узнал из газетной статьи о жутком событии, впервые привлечшем внимание к небольшому селению в той части Катскиллских гор, которую датчане цивилизовали лишь слегка, как бы мимоходом, и ушли, оставив после себя несколько теперь уже разрушенных временем особняков и разбросанные тут и там по склонам жалкие лачуги скваттеров. Так называемые нормальные люди редко сюда заглядывали, потом, правда, эти места стали навещать патрули государственной полиции, Впрочем, нельзя сказать, чтобы часто. О затаившемся страхе местные жители наслышаны чуть ли не с самого рождения. Даже выбираясь за пределы родных мест, эти полукровки постоянно толкуют о нем на корявом своем наречии, когда пытаются выменять самодельные корзины на предметы первой необходимости – ведь они не умеют ни стрелять дичь, ни выращивать злаки, ни делать еще что-нибудь путное.

Затаившийся страх угнездился, по слухам, в уединенном и заброшенном особняке Мартенсов, стоящем на вершине высокого пологого холма, обладающего способностью притягивать к себе грозы и получившего поэтому название Горы Бурь. Уже более ста лет об этом старинном каменном доме, расположенном посреди небольшой рощицы, ходили жуткие слухи. Рассказывали страшные истории об обитающей здесь бесшумной ползучей смерти, выбирающейся на свет божий каждое лето, и о некоем демоне, похищающем во тьме одиноких путни-

ков. Иногда он уносил их с собой, а иногда тут же безжалостно загрызал. Понизив голос, скваттеры рассказывали также о кровавых следах, ведущих к уединенному особняку. Некоторые считали, что именно гром вызывает затаившийся страх из его убежища, другие утверждали, что гром – это его голос.

Люди со стороны не верили этим противоречивым рассказам. Да и описание самого демона, хоть и было впечатляющим, тоже вызвало сомнения. И все же никто из фермеров и жителей ближайших деревень не сомневался, что в особняке Мартенсов водится нечистая сила. Они упорно стояли на своем, хотя ни один из смельчаков, попытавшихся на месте проверить их полные ужасающих подробностей рассказы, не нашел в особняке ничего подозрительного. Старухи рассказывали захватывающие истории о призраке Мартенса; упоминалось при этом и само семейство, с его наследственной чертой – разного цвета глазами, и преступные деяния этого рода, которые увенчались неслыханным по коварству убийством, навлекшим на него проклятье.

Лично меня привлекло сюда неожиданное и ужасное подтверждение одной из самых невероятных местных легенд. Однажды летней ночью после необычайно сильной грозы вся округа была разбужена неким фермером, в панике примчавшимся в селение. Вскоре все уже вопили и стонали, нисколько не сомневаясь, что на них надвигается беда. Никто еще ничего не видел собственными глазами, но по крикам, доносившимся из ближайшей деревушки, все поняли, что ползучая смерть объявилась снова.

Попутру жители поселка вместе с полицейскими и дрожащими от страха скваттерами проследовали к месту бедствия. По деревушке действительно прошла смерть. После сокрушительного удара молнии земля осела, разрушив несколько самых ветхих строений, однако обилие человеческих жертв затмило все материальные разрушения. Из семидесяти пяти человек никто не остался в живых. Развороченная земля смешалась с кровью и кусками человеческих тел, на которых были четко видны следы зубов и когтей демона, – но странное обстоятельство: от места этой страшной бойни не вели никакие следы. Полиция пришла к выводу, что здесь побывал некий чудовищный зверь. Теперь уже никто не пытался отнести это загадочное преступление на счет злодейских убийств, обычных в таких примитивных сообществах. Эта версия, правда, возникла снова, когда выяснилось, что среди мертвых отсутствуют останки двадцати пяти человек, но тогда возникал вопрос: как эти двадцать пять сумели погубить вдвое большее число людей? В конце концов порешили, что в ту летнюю ночь сошла с небес кара Господня, оставив после себя мертвую деревушку, усеянную чудовищно изуродованными, в клочья разорванными и растерзанными телами.

Насмерть перепуганные люди немедленно связали случившееся с подозрительным домом Мартенсов, хотя до него было свыше трех миль. Полиция отнеслась к этой версии скептически, но все же формальности ради обследовала особняк, ничего там не нашла и потеряла к нему всякий интерес. Крестьяне же, напротив, проявили поразительное усердие: перевернули весь дом, вырубали кусты, а также обследовали все ближайшие пруды и речушки, прочесали вокруг леса. Но все впустую – ползучая смерть не оставила никаких следов.

Уже на второй день газетчики пронюхали об этом кошмарном событии и буквально наводнили Гору Бурь. Они расписали случившееся во всех подробностях, не умолчав и о страшных легендах, рассказанных им сельскими стариками. Занимаясь проблемами сверхъестественного, я внимательно следил за развитием событий и спустя неделю, 5 августа 1921 года, почувствовав, что атмосфера сгущается, прибыл в Леффертс-Корнерз, ближайший к Горе Бурь и району поисков поселок, и остановился в гостинице, прямо-таки кишевшей репортерами. Спустя три недели почти все журналисты разъехались, и я со своими друзьями мог начать свое опасное расследование, опираясь и на рассказы очевидцев, и на собственные предварительные выводы.

И вот летней ночью под шум отдаленных раскатов грома, оставив автомобиль у подножья, мы начали восхождение на Гору Бурь. Наконец наши фонарики вырвали из тьмы укрывшиеся среди могучих дубов призрачные серые стены. В неясных проблесках света, лишь изредка раздвигающих черноту ночи, громадное квадратное здание наводило ужас еще больший, чем днем. И все же моя решимость убедиться в правоте своих предположений не поколебалась. Я был убежден, что именно гром вызывает демона смерти из его тайного убежища, и хотел знать, появляется ли он во плоти или же в виде плазмообразного сгустка зла.

Заранее изучив обветшавший дом, я продумал план действия. Местом для наблюдений я избрал комнату Яна Мартенса, об убийстве которого так много говорилось в местных преданиях, интуитивно чувствуя, что жилище этой давней жертвы более всего подходит для моих целей. В этой комнате площадью около двадцати квадратных метров сохранился разный хлам, бывший когда-то мебелью. Комната была расположена на втором этаже южной части особняка, большое окно выходило на восток, окно поменьше – на юг. На обоих не было ставен, не говоря уже о стеклах. Напротив большого окна стояла громадная голландская печь, изразцы которой живо воспроизводили легенду о блудном сыне; напротив маленького – просторное, встроенное в нишу ложе.

Гром, заглушаемый прежде листвой деревьев, здесь гремел вовсю, и я приступил к дальнейшим предусмотренным мною действиям. Прежде всего прикрепил к карнизу большого окна три принесенные с собой веревочные лестницы, предварительно убедившись, что они достигают земли. Затем мы вдвоем приволокли из соседней комнаты массивный остов кровати и приставили его вплотную к окну. Набросав лапника, мы устроились на нем с оружием. Двое дремали, один был на страже. Откуда бы ни появился демон, отступление нам гарантировано. Если он объявится изнутри дома, мы воспользуемся веревочными лестницами, если снаружи – будем отступать по коридорам. Исходя из того, что нам было известно, мы полагали: даже в самом худшем случае демон не станет долго преследовать нас.

Я бодрствовал с полуночи до часу, но потом, несмотря на зловещую атмосферу дома, выбитое окно и приближающуюся грозу, почувствовал непреодолимую сонливость. Я лежал посередине, Джордж Беннет – у окна, а Уильям – ближе к печи. Беннет спал, похоже, не совладав с той противоестественной сонливостью, которую испытывал и я. Дежурил Тоби, хотя он тоже клевал носом. Интересно, что все это время я и в полузабытии все-таки не сводил глаз с печи.

Нарастающие раскаты грома, видимо, повлияли на мои сновидения – даже за тот короткий отрезок времени, что я дремал, меня одолевали апокалиптические картины. Разбудил меня сильный удар в грудь – спящий у окна непроизвольно толкнул меня. Еще не совсем проснувшись и не сориентировавшись, спит Тоби или бодрствует, я почувствовал недоброе. Никогда прежде мне не доводилось так отчетливо испытывать почти физическую близость Зла. Все же я забылся опять, но из пучины видений меня вырвал на этот раз истошный, полный отчаяния крик, с которым не могло сравниться ничто из слышанного мною когда-либо. Казалось, этим криком исторгнуты все потаенные страхи и боль человеческой души, очутившейся у самых врат небытия. Проснулся я в мучительном, волнами накатывающем страхе, с ощущением, что мне глядит в лицо само кровавое безумие с издевательским оскалом сатанизма. Было темно, но пустующее справа от меня место говорило, что Тоби исчез. Тяжелая рука соседа слева все еще лежала у меня на груди. Раздался оглушительный удар грома, потрясший до основания всю гору, огненная молния проникла в самые укромные уголки развалившихся склепов и расколола надвое старейшину среди скособоченных гигантских деревьев. В зловещем отблеске чудовищной вспышки лежащий рядом резко поднялся. Его тень упала на печь, куда был устремлен мой взгляд. Боже, что я увидел!.. То, что я остался жив и невредим, – необъяснимое чудо. Тень принадлежала не Джорджу Беннету или какому-нибудь другому человеку, а мерзкому чудовищу, восставшему из самых глубин ада, – безымянному, бесформенному

и гнусному созданию, которое невозможно представить себе или описать. Через секунду я уже был в комнате один – дрожащий от страха, бормочущий невзвесть что. Джордж Беннет и Уильям Тоби безвозвратно пропали, не оставив даже следов борьбы. Больше о них никто не слышал.

II. Прогулка в грозу

После ужасных событий в затерянном среди леса загадочном особняке я долгое время лежал совершенно больной в гостиничном номере, не покидая Леффертс-Корнерз. Не помню, как в ту злосчастную ночь добрел до автомобиля, как завел его, как добрался незамеченным до поселка. В памяти остались только пугающие очертания громадных деревьев, дьявольские раскаты грома и зловещие тени на могилах вокруг этого жуткого места.

Вспоминая с содроганием омерзительную тень, я понимал, что заглянул в глубочайшую, непостижимую бездну – ту, о существовании которой мы можем только догадываться по неясным знакам, доходящим до нас из сокровенных недр бытия. Наше ограниченное восприятие не позволяет нам, к счастью, взглянуть в этот мир пристальнее. Мне трудно понять, чью тень я видел на печи. Кто-то лежал между мной и окном, но, как только я пытаюсь понять, кто это был, меня охватывает ужас. Лучше бы оно зарычало. Или залаяло. Или захохотало – все бы хоть чуть-чуть снялся тот безграничный ужас; но оно молчало. А эта тяжелая рука – или нога? – у меня на груди... Она была живой... или когда-то живой... Ян Мартенс, чью комнату мы заняли, покоится на кладбище неподалеку от дома... Нужно отыскать Беннета и Тоби, если только они живы... Почему он унес их, а не меня? И почему мной овладела тогда такая сонливость, а сны были полны кошмаров?..

Вскоре меня неудержимо потянуло поделиться с кем-нибудь пережитым, чтобы не сойти с ума. К тому времени я уже решил, что непременно продолжу поиски затаившегося страха, полагая, в опасном заблуждении, что неопределенность всегда хуже самого страшного знания. Теперь следовало обдумать, кому можно поведать свои злоключения и каким образом выследить то, что похитило двух людей и отбрасывало столь чудовищную тень.

Моими ближайшими знакомыми в Леффертс-Корнерз оставались общительные журналисты, кое-кто из них еще жил в гостинице, ловя отголоски недавней трагедии. Решив отыскать среди них конфидента, я размышлял, кому отдать предпочтение, и наконец остановился на Артуре Манро, смуглом худощавом человеке лет тридцати пяти, чье образование, интересы, ум и темперамент говорили об отсутствии косности и предвзятости.

И вот как-то днем в начале сентября Артур Манро выслушал мою исповедь. С самого начала было видно, что история заинтриговала и даже захватила его, а после завершения рассказа он проанализировал случившееся, проявив изрядный ум и здравый смысл. Более того, совет его не торопиться и тщательно изучить все исторические и географические свидетельства, связанные с домом Мартенсов, – был чрезвычайно полезен. По его инициативе мы прочесали всю округу в поисках информации о таинственной семье Мартенсов и нашли человека, владевшего некоторыми весьма красноречивыми документами. Мы много беседовали с теми горными жителями, которые не сбежали от всех этих бед в более спокойные районы, а также методично и скрупулезно обследовали места, особенно часто упоминавшиеся в легендах скваттеров.

Первое время результаты наших поисков были неясны для нас самих, хотя при тщательном анализе кое-что вырисовывалось. Самое главное – большинство ужасных событий случалось неподалеку от заброшенного особняка или окружающего его мрачного леса с поразительно обильной растительностью. Исключения, правда, бывали – например, упоминавшееся мною кошмарное происшествие произошло на открытом месте, вдали от особняка и зловещего дома.

Относительно же природы и внешних примет затаившегося страха мы ничего не могли добиться от темных и запуганных обитателей горных хижин. Они называли его то змеем, то великаном, то демоном, прилетающим вместе с громом, то летучей мышью, то хищной птицей, то шагающим деревом. Из всего этого мы сделали вывод, что это живой организм, очень

чуткий к электрическим разрядам, и хотя в некоторых историях ему приписывали крылья, все же его нелюбовь к открытым пространствам говорила за то, что передвигается он по земле. Единственное, что нарушало стройность нашей теории, так это способность существа перемещаться с огромной скоростью: только так оно могло совершить все приписываемые ему деяния.

Узнав скваттеров поближе, мы даже полюбили их. Это были примитивные создания, опускавшиеся все ниже и ниже по эволюционной шкале из-за плохой наследственности и удушающей изоляции от остального человечества. Хотя они побаивались новых людей, но вскоре привязались к нам и очень помогли, когда мы в поисках затаившегося страха разломали перегородки в старинном доме и облазили все заросли вокруг. Они, правда, сразу грустнели, когда мы просили помочь нам отыскать Беннета и Тоби, потому что их собственный опыт говорил им, что жертвы страха исчезают навсегда. Мы же, зная, как много погибло их несчастных земляков, предчувствовали, что на этом дело не кончится, и ждали дальнейшего разворота событий.

Однако до конца октября ничего не случилось, и это весьма озадачивало нас. Стояли тихие, спокойные ночи, видимо, поэтому дремала и злая сила. Ничего не найдя в доме и его окрестностях, мы стали склоняться к мысли, что затаившийся страх – нематериальная субстанция. К сожалению, приход холодов мог сорвать все наши планы: было замечено, что зимой демон ведет себя спокойно. В палатке, которую мы поставили в брошенной деревушке, часто посещаемой страхом, воцарилось беспокойное ожидание.

Эта деревушка с дурной репутацией была безымянной, хотя существовала издавна, приютившись в расщелине между двумя возвышенностями – Коун-Маунтин и Марпл-хилл. Она стояла ближе к Марпл-хилл, и некоторые жители построили хижины прямо на склонах этого холма. В двух милях к северу начиналось подножье Горы Бурь, еще через милю – дубрава с укрывшимся в ней заброшенным особняком. Большая часть этого расстояния представляла собой открытую равнину, довольно плоскую, если не считать немногочисленных змеевидных холмиков, поросших травой. Зная рельеф местности, мы решили, что демон должен появиться со стороны Коун-Маунтин – южный ее склон подходил к западному отрогу Горы Бурь. Мы внимательно обследовали смещения почвы в том районе, где росло высокое дерево, расщепленное молнией в один из визитов демона.

Обследовав раз двадцать самым тщательным образом злосчастную деревушку, мы с Артуром Манро испытали сильное разочарование, к которому примешивался и неопределенный страх. Он был какого-то жуткого свойства – в самом деле, разве не странно, что после таких чудовищных событий не осталось ничего, что могло бы указать на виновника катастрофы? Вот и сейчас мы уныло бродили под мрачным свинцовым небом, испытывая смешанное чувство необходимости и одновременно бессмысленности наших действий. Наш осмотр и на этот раз был скрупулезнейшим: мы заново обошли каждую хижину, искали на склонах непогребенные тела, обследовали каждую яму, каждую норку – и все безрезультатно. И опять повсюду витал страх, как будто громадный крылатый грифон взирал на нас из космических бездн.

Тучи понемногу сгущались, и мы уже с трудом различали в сумерках отдельные предметы. Вдали слышались раскаты грома – над Горой Бурь собиралась гроза. Нас, понятное дело, охватило волнение, хотя до ночи было еще далеко. Надеясь, что гроза затянется и злая сила как-то себя проявит, мы оставили наши поиски на склоне и направились в сторону ближайшего обитаемого жилища в надежде уговорить скваттеров помочь нам. Наш авторитет заставил нескольких молодых людей преодолеть робость, и они дали согласие следовать за нами.

Но только мы двинулись в путь, как обрушился такой ливень, что какой-нибудь кров стал совершенно необходим. Тьма сгустилась, да настолько, что мы спотыкались на каждом шагу, и только отдельные вспышки молний да наше доскональное знание местности помогли нам добраться до полуразвалившейся хижины. Это было жалкое сооружение из досок и бре-

вен; чудом сохранившаяся дверь и единственное окно выходили на Марпл-хилл. Закрыв дверь на засов, мы, наученные нашими помощниками, затворили также и ставни, укрывшись таким образом от дождя и резких порывов ветра. Уныло сидели мы на шатких ящиках в полной темноте, только огоньки трубок да изредка свет фонарика оживляли гнетущую атмосферу. Время от времени мы видели сквозь щели в стене блеск молний – темнота была столь густой, что их стрелы вырисовывались очень четко.

Это бдение в грозу вдруг напомнило мне незабываемую ночь на Горе Бурь. Поежившись от страха, я в очередной раз задал себе вопрос, на который пока не мог ответить: почему демон из трех сидевших в засаде людей уничтожил двух по краям и оставил того, что был в середине? Почему он так внезапно исчез после электрического разряда чудовищной силы? Почему нарушил последовательность и не забрал меня вторым? Что скрывалось за этим? Может, он знал, что я зачинщик, и готовит мне участь пострашнее?

Прервав мои размышления, а вернее, внеся в них дополнительный драматизм, все небо прорезала огромная молния, за которой последовал удар грома, сотрясший землю. Одновременно поднялся сильный ветер, его завывания нарастали в зловещем крещендо. Мы были убеждены, что молния вновь ударила в одинокое дерево на склоне Марпл-хилл, и Манро, поднявшись, подошел к крошечному окошку удостовериться в этом. Ветер и дождь ворвались в открытые им ставни с оглушительным ревом, и я не смог расслышать произнесенных им слов. Проверая, насколько значительны разрушения, он высунулся из окна и замер, как бы вглядываясь во что-то.

Вскоре ветер утих и мрак рассеялся. Буря кончилась. Мои надежды на то, что она продлится и ночью, не оправдались, и как бы в подтверждение этого сквозь щели пробился слабый солнечный лучик. Считая, что свет нам не повредит, даже если ливень начнется снова, я снял засов и распахнул грубо сколоченную дверь. Земля снаружи превратилась в сплошное месиво, а ливень приносил со склонов все новые потоки грязи. Однако ничего такого, что объяснило бы, почему мой друг так долго не отходит от окна, я не увидел. Подойдя поближе, я дотронулся до его плеча – он не шевелился. Тогда я шутливо потряс его и повернул к себе... И тут же почувствовал, как меня начинает душить несказанный ужас, наплывающий откуда-то из глубины столетий, из бездонных краев ночи, существующей во веки веков.

Артур Манро был мертв. А его голова – вернее лицевая ее часть – была изуверски выедена.

III. Что означал ослепительный блеск

В ночь на 8 ноября 1921 года, когда бушевала такая страшная гроза, что казалось, небеса разверзлись, я при тусклом свете лампы раскапывал, сам не зная зачем, могилу Яна Мартенса. Я принялся за дело после обеда, когда понял, что собирается буря, и теперь радовался неистовой стихии, безжалостно рвущей и уносящей с собой столь роскошную в этой местности листву.

Думаю, что после событий 5 августа я несколько тронулся рассудком. Дьявольская тень в особняке, затем страшное нервное напряжение в течение долгого времени, разочарование и, наконец, трагедия в хижине в ту октябрьскую ночь – согласитесь, всего этого многовато для одного человека. И вот теперь я разрывал могилу Мартенса, чтобы понять, почему погиб Артур Манро. Все же остальные, кто, как и я, не могут этого уразуметь, пусть считают, что убийца где-то странствует. Мы облазили все вокруг, но так и не нашли его. Скваттеры наверняка что-то предполагали, но я, не желая их еще больше запугивать, не говорил с ними об этой смерти. Сам же я очерствел. Шок, пережитый мною в особняке, сказался на моем рассудке, и я думал только о том, как отыскать этот затаившийся страх, выросший в моем сознании до фантазмагорических размеров. Но теперь, помня о судьбе Манро, я поклялся действовать в одиночку.

Один лишь вид раскопанной могилы вывел бы нормального человека из равновесия. Мрачные старые деревья неестественных размеров и форм склонялись надо мной, как своды нечестивого храма друидов. Гром и зловещий шум ветра стихали под ними, почти не пропускали они и дождевых струй. За иссеченными молнией могучими стволами вырисовывался в слабых отблесках света контур заброшенного особняка, утопающего в мокром плюще. Немного поодаль был разбит голландский сад, теперь основательно запущенный, его гряды и клумбы сплошь заросли бледной зловонной растительностью, почти никогда не видевшей дневного света. Рядом раскинулось кладбище, все в искривленных деревьях, уродливые ветви которых, казалось, питались ядом от залегающих в неосвященной земле корней. Под густым коричневатым слоем листвы, гниющей во мраке этого первобытного леса, я видел то тут, то там пугающие очертания низких надгробий.

Сама история привела меня к этой старой могиле. История – вот что осталось мне после того, как все остальное потонуло в жутком оскале сатанизма. Теперь я считал, что затаившийся страх – не материальная субстанция, а призрачный оборотень, рожденный ночной молнией. Исходя из преданий и документов, раздобытых мной вместе с Артуром Манро, этим призраком мог быть Ян Мартенс, скончавшийся в 1762 году. Поэтому-то я и рылся, видимо, бессмысленно, в его могиле.

Особняк Мартенсов был возведен Герритом Мартенсом, богатым купцом из Нового Амстердама, не смирившимся с переменами, которые принесло английское владычество. Он построил это величественное здание на горе, в уединенном лесном районе, приглянувшимся ему своей девственной первозданностью. Единственным существенным недостатком здесь были частые и сильные грозы. Когда Мартенс выбирал место и затем строил, он полагал, что эти природные явления – особенность текущего года, но со временем понял, что ошибся. Убедившись, что грозы неблагоприятно действуют на его сосуды, он выстроил себе подвальное помещение, куда спускался всякий раз с приближением грозы.

О потомках Геррита Мартенса известно еще меньше, чем о нем самом. Они ненавидели все английское и сторонились тех колонистов, которые приняли новые порядки. Их жизнь протекала в строгом уединении, и, по слухам, изоляция плохо сказывалась на их умственных способностях и речи. У всех членов семейства была наследственная особенность – разные глаза: один голубой, другой карий. Их контакты с внешней средой слабели с каждым годом – они даже

жен себе брали из собственной челяди. Многочисленные отпрыски семейства стали явными вырожденцами. Одни, спускаясь в долину, смешивались с метисами и вливались в ту среду, которая поставляла скваттеров. Другие, напротив, не покидали родовое гнездо, мрачно пестуя свою обособленность от остального мира и все чувствительней реагируя на грозы.

Многое о жизни этой семьи стало известно от молодого Яна Мартенса – влекомый беспокойной своей натурой, он вступил в армию колонистов, когда слухи о съезде в Олбани достигли Горы Бурь. Он первым из потомков Геррита повидал мир, и когда спустя шесть лет вернулся домой, то стал объектом ненависти домочадцев, которые смотрели на него как на чужака, хотя у него, как и у всех Мартенсов, были разные глаза. Да и сам он с трудом выносил теперь странный, полный нелепых предрассудков уклад семейства; не вызывали у него бывшего восторга и грозы в горах. Все приводило его в уныние, и он часто писал другу в Олбани, что собирается покинуть родной кров.

Весной 1763 года Джонатан Джиффорд, друг Яна Мартенса, живший в Олбани, давно не получая от него писем, забеспокоился, тем более что знал о сложных отношениях и частых ссорах в доме Мартенсов. Решив лично убедиться, что там все в порядке, он отправился верхом в горы. Из его дневника следует, что до Горы Бурь он добрался 20 сентября. Его поразила обветшалость здания, но еще больше – угрюмые разноглазые Мартенсы с их диковатыми, звериными повадками; они-то и поведали ему на ломаном, изобилующем гортанными звуками английском языке, что Ян умер. По их словам, еще прошлой осенью его убило молнией. Похоронили его здесь же, неподалеку от заросшего сорняками сада; хозяева показали гостю и могилу – голый холмик без всякого памятника. Что-то в поведении Мартенсов покорило Джиффорда и вызвало подозрения. Через неделю он тайно вернулся в эти места с лопатой и киркой. Разрыв могилу, он увидел то, что и предполагал, – череп его друга был жестоко проломлен в нескольких местах. Вернувшись в Олбани, Джиффорд возбудил против Мартенсов уголовное дело, обвиняя их в убийстве родственника.

Хотя прямых улик не хватило, слухи об убийстве распространились по округе, и с тех пор Мартенсов подвергли остракизму. Никто не хотел иметь с ними дело, а от самого дома старались держаться подальше, считая его проклятым местом. Мартенсам все же удавалось как-то сводить концы с концами за счет натурального хозяйства, и долгое время об их существовании говорили лишь огоньки, загоравшиеся по вечерам высоко в горах. Со временем они светились все реже, а с 1810 года и вовсе перестали загораться.

Постепенно дом и сама местность вокруг обросли страшными легендами. Напуганные жуткими рассказами, люди обходили его стороной. Так продолжалось до 1816 года, когда скваттеры вдруг спохватились, что огней на горе уже давно не видно. К дому направилась группа добровольцев, которая нашла его пустым и уже изрядно обветшалым.

Отсутствие скелетов и недавних захоронений наводило на мысль, что обитатели не вымерли, а переселились в другое место. Это случилось, видимо, несколько лет назад. Многочисленные пристройки к дому говорили о том, что перед своим исходом семейство Мартенсов было весьма многочисленным. Судя по всему, они совсем опустелись, об этом говорили и обшарпанная мебель, и разбросанное столовое серебро, которое, похоже, не чистилось годами. Но хотя ненавистные Мартенсы и ушли, страх, связанный с их домом, остался и даже возрос, а среди жителей гор распространились новые жуткие слухи. Дом же продолжал стоять – заброшенный, вызывающий ужас, прибежище мстительного духа Яна Мартенса; таким он стоял и в ту ночь, когда я разрывал могилу.

Я назвал свое занятие бессмысленным, и оно действительно ни к чему не привело. Гроб Яна Мартенса показался довольно скоро, но в нем не было ничего, кроме горсти праха. Однако я, одержимый яростной решимостью отыскать его восстающий дух, продолжал все глубже зарываться в землю. Мне и самому было непонятно, что я надеялся увидеть, одно лишь знал: я раскапываю могилу человека, чей дух рыщет вокруг по ночам.

Я копал и копал, не имея представления, какой уже достиг глубины, как вдруг моя лопата, а за ней и ноги провалились под землю. Меня сковал ужас. Существование подземелья подтверждало мои самые сумасшедшие предположения. При падении потухла лампа, но с помощью электрического фонарика я сумел-таки осмотреть узкий подземный ход, расходящийся в две стороны. Мужчина моей комплекции мог пробираться по нему лишь ползком, и хотя ни один человек, будучи в здравом уме, не решился бы на это, особенно ночью, я, забыв об опасности, не слушая доводов рассудка и не обращая внимания на грязь, опустился на колени, охваченный одним желанием: повстречаться наконец с затаившимся страхом. Решив ползти по направлению к дому, я бесстрашно протиснулся в узкую нору и, извиваясь, быстро пополз вперед в полной темноте, лишь изредка освещая путь фонариком, который держал перед собой.

Не найдется слов, чтобы описать затерянного в глубинах земли человека, описать, как он ползет, извиваясь, царапая комья глины, – с удушливым хрипом прокладывает безумец путь среди витков ночного мрака, не имея представления ни о времени, ни о последствиях своих действий, не зная ни направления, ни конечной цели. Это за пределами человеческого понимания, но именно так я поступил. Я полз так долго, что забыл свою прошлую жизнь, превратившись, казалось, в существо из темных глубин – крота или червя. Лишь случайно, после долгого перерыва, я включил фонарик, о котором совсем забыл, и неровная глиняная поверхность уходящей вдаль норы зловеще осветилась.

Некоторое время я полз в одном направлении, теперь уже экономя батарейки, но затем ход резко свернул вверх. И вдруг впереди я неожиданно увидел что-то вроде двух горящих в темноте дьявольских копий моего гаснущего фонарика. Излучаемый ими свет гипнотически подействовал на меня, будя какие-то неясные воспоминания. Я непроизвольно замер, вместо того чтобы отпрянуть. Глаза все приближались. Я не мог различить весь облик существа, которому они принадлежали, зато хорошо видел его когти. Вот это было зрелище! Вдруг над моей головой послышался отдаленный шум. Это был грохот грома, вскоре усилившийся до оглушительных раскатов, – значит, я основательно продвинулся вверх, совсем близко к поверхности. Гром гремел, а глаза все смотрели на меня с тупой злобой.

Слава Богу, я не знал тогда, что это было, иначе наверняка умер бы от страха. Меня спас гром – один из тех раскатов, которые пробудили эту ужасную тварь: после томительной паузы с невидимых небес обрушился оглушительный удар, сотрясший горы. Такое здесь случилось и раньше, об этом говорили перевернутая земля, глубокие провалы и обнаженная горная порода. Молния с яростью циклопа была в землю прямо над дьявольским подземным ходом, оглушая меня и почти лишая сознания.

Земля сотрясалась и ходила ходуном, я же беспомощно копошился в ней, пока меня не выбросило на поверхность. Я лежал с мокрым от дождя лицом. Картина вокруг была знакомой – крутой юго-западный склон, почти лишенный растительности. Грозовые вспышки, охватывающие пламенем грозовое небо, освещали искореженную землю и то, что осталось от диковинного низкого холма, который прежде, причудливо извиваясь, тянулся сюда от лесистой части горы. Озираясь вокруг, я не мог понять: откуда меня выбросило, как я высвободился из губительной ловушки? Сумятица в моей голове не уступала хаосу в природе, и когда на южном склоне вспыхнуло ослепительное алое зарево, я еще не осознал, чего мне удалось избежать.

Уяснил я это только два дня спустя, когда скваттеры рассказали мне, что означала та вспышка яркого пламени. Вот тут-то меня охватил настоящий ужас – больше, чем при встрече в подземелье с обладателем страшных глаз и когтей. Их рассказ мог хоть кого напугать до смерти. В деревушке на расстоянии двадцати миль от того места, где меня выбросило на поверхность, после оглушительного раската грома последовала очередная оргия страха: омерзительного вида существо спрыгнуло с искривленного дерева на ветхую крышу одной из хижин. Оно успело сделать свое черное дело, но выбраться на волю не смогло – скваттеры в панике спалили хижину вместе с чудовищем. Как я понял, оно спрыгнуло с дерева

как раз в тот момент, когда в другом месте земля погребла в себе нечто с ужасными когтями и горящими глазами.

IV. Ужасные глаза

Трудно счесть здоровым человека, который, зная столько, сколько знал я о зловещих делах, вершавшихся на Горе Бурь, рвался бы туда снова – докопаться, что же за страх затаился там. Тот факт, что по меньшей мере два материальных воплощения страха были к тому времени уничтожены, давал лишь очень слабую гарантию психической и физической безопасности в этом Ахероне многоликого сатанизма, и все же я, несмотря ни на что, возобновил поиски с еще большим рвением.

Узнав два дня спустя после моей опасной подземной встречи с демоническим существом, что в тот самый миг, когда на меня смотрели ужасные глаза, в двадцати милях другое злобное существо готовилось к фатальному прыжку, я пережил очередной приступ неумного страха. Впрочем, сопутствующие ему страстное любопытство и непонятное возбуждение делали этот страх почти сладостным. Так иногда посреди ночного кошмара, когда невидимые силы несут тебя поверх загадочных мертвых городов к оскалившейся пасти Ниса, нет большего блаженства, чем с диким воплем броситься добровольно в ужасный водоворот сновидений и нестись, не думая о разверзшейся впереди бездне. Точно такие же чувства будил во мне таинственный, перемещающийся в пространстве страх Горы Бурь. Открыв, что там обитали два монстра, я ощутил необузданное желание взрыть всю тамошнюю землю, перекопать голыми руками и освободить наконец от смерти, отравляющей каждый ее дюйм.

Я снова поспешил на могилу Яна Мартенса и принялся рыть на прежнем месте. Однако земля завалила подземный ход, дождь уничтожил все следы моей прежней работы, и трудно было определить, на какой глубине этот ход начинается. Я предпринял также нелегкое путешествие к хижине, где сожгли смертоносное чудовище, но усилия мои не были вознаграждены. В пепле сохранилось несколько костей, но ни одна из них не принадлежала чудовищу. По словам скваттеров, все ограничилось одной жертвой, но они, очевидно, ошибались: помимо одного хорошо сохранившегося человеческого черепа я нашел остатки и другого. Хотя многие видели молниеносный бросок чудовища, никто не мог сказать, как оно выглядело, все говорили просто: дьявол. Внимательно осмотрев дерево, на котором оно пряталось, я не нашел ничего подозрительного. Попытался было отыскать возможные следы в темном лесу, но не смог вынести вида уродливых пней и змеевидных корней, зловеще сплетающихся, перед тем как навечно погрузиться в землю.

Затем я еще раз внимательно осмотрел ту брошенную хижину, которую страх посещал чаще всего и где Артур Манро увидел перед смертью нечто, его потрясшее, о чем не успел рассказать. Мои предыдущие осмотры, несмотря на все тщание, не принесли осязаемых результатов. Теперь же следовало проверить новую версию: невероятное путешествие под землей убедило меня, что по крайней мере одно из обличий чудовища – подземный монстр. И в памятный день 14 ноября я опять осматривал те склоны Коун-Маунтин и Марпл-хилл, которые спускались к печально прославившейся хижине, обращая особое внимание на свежие выбросы земли.

День поисков ничего не принес; сумерки застали меня на склоне Марпл-хилл, я стоял и задумчиво глядел в сторону хижины и Горы Бурь. Роскошный пламенный закат сменился лунным серебристым светом, разлившимся по долине, горным склонам и странным низким холмам, попадавшимся здесь особенно часто. Словом, идиллическая картина. Мне же она была отвратительна: уж я-то знал, что за ней скрывалось. Я равно ненавидел и эту ухмыляющуюся луну, и лицемерную равнину, и гниlostную гору, и эти зловещие холмы. Связанное гнусным союзом с невидимыми силами Зла, все вокруг, казалось мне, напоено ядом.

Устремив взор на залитую лунным светом землю, я вдруг явственно осознал, что в открывшейся предо мной картине есть некое единство. Не знакомый основательно с геологией, я все же с самых первых дней заинтересовался частыми в этой местности странными

змеевидными холмами. Они располагались вокруг Горы Бурь, и в долине их было меньше, чем на самой возвышенности, где доисторическое оледенение мало препятствовало образованию этих причудливых, фантастических смещений коры. Теперь, при свете убывающей луны, отбрасывающей длинные таинственные тени, меня поразило, что углы и линии этой своеобразной системы каким-то образом соотносились с вершиной Горы Бурь. Она, вне всяких сомнений, была центром, откуда во все стороны разбегались лучами эти странные холмы. Дом Мартенсов как бы распустил во все стороны ужасные щупальца... При мысли о щупальцах меня словно подбросило, и тут я впервые подверг критическому анализу свою версию о ледниковом происхождении здешних холмистых складок.

Чем больше я думал, тем менее вероятной представлялась мне эта версия. Мной овладела новая, ужасная и невероятная мысль, подсказанная и формой холмов, и тем, что я увидел под землей. Еще не вполне осознав свое открытие, я бессвязно бормотал, как в бреду: «Боже!.. Ячейки... проклятое место... должно быть, изрешечено сотами... множеством сот... и тогда ночью в особняке... они взяли сначала Беннета и Тоби... тех, кто был ближе... по краям». Не теряя времени, я начал судорожно раскапывать ближайший холм, испытывая отчаяние, страх и одновременно восторг... Так я копал, изредка выкрикивая нечто нечленораздельное, не в силах сдержать обуревавших меня чувств, пока не наткнулся на подземный ход или нору, подобную той, по которой я полз памятной ночью.

Потом я, помнится, бежал с лопатой в руках, бежал, объятый ужасом, по освещенным лунным светом холмистым лужайкам, а затем – по чахлому, призрачному леску, расположенному на крутом склоне, бежал, крича и отдуваясь, перепрыгивая через препятствия, бежал прямо к зловещему особняку Мартенсов. Дальше, помню, копал без всякой системы на развалинах заросшего шиповником подвала, надеясь отыскать центр этой злокачественной опухоли. Помню, как дико я расхохотался, наткнувшись на подземный ход у основания старой печи, где густо рос сочный высокий бурьян, отбрасывающий диковинные тени при свете зажженной мною свечи. Я еще не знал, обитает ли кто-нибудь в этом адском улье, таясь и ожидая грома, чтобы выйти наружу. Два монстра уже погибли, может, других и нет? Меня подгоняло острое желание разгадать наконец секрет страха, который, теперь я был убежден, является материальной, органической субстанцией.

Стоя в нерешительности, я размышлял, обследовать ли мне ход самому, прямо сейчас же, прибегнув к помощи электрического фонарика, или отложить поиски и набрать в подмогу группу скваттеров-добровольцев. Вдруг резкий порыв ветра, прервав мои мысли, задул свечу, оставив меня в полной темноте. Лунный свет не проникал в подвал сквозь щели и отверстия в крыше, и тут, охваченный тревожным предчувствием, я услышал леденящие душу раскаты грома, полные для меня теперь нового значения. Повинуясь отчетливо осознанной необходимости спрятаться подальше, я на ощупь пробрался в дальний угол подвала, не сводя, однако, глаз с вырытой рядом с печью ямы. При вспышках молний я мог различать разрушенную временем кирпичную кладку и неестественно пышную растительность. Меня охватили одновременно ужас и любопытство. Что на этот раз вызовет к жизни гроза? Или под землей уже ничего не осталось? После одной ослепительной вспышки я, осмотревшись, перебрался в другое место и спрятался среди особенно густой поросли. Отсюда была хорошо видна яма, сам же я оказался под надежным прикрытием.

Если Провидение будет благосклонно ко мне, то оно вытравит из моей памяти увиденное в ту ночь и даст спокойно дожидаться конца моих дней. Ведь стоит мне теперь услышать отдаленный гром, я не могу уснуть и принимаю успокоительное.

Все началось мгновенно и неожиданно. Демон, напоминающий своим видом крысу, похрюкивая и сопя, вырвался на волю из далеких, неведомых бездн. А вслед за ним из той же ямы выкатилось множество всякой нечисти, целое сонмище мерзких уродцев – гнусные порождения ночи. Самое извращенное воображение не смогло бы породить ничего подобного. Клу-

бась, они вылетали из зияющего отверстия – кипящий, бурлящий, бушующий фонтан – и, подобно заразе, мгновенно заполнили все вокруг. Они лезли через щели наружу и устремлялись далее, неся с собой в проклятые леса ужас, безумие и смерть.

Бог знает, сколько их там было – должно быть, тысячи. Этот нескончаемый поток, который я различал при слабых вспышках молний, сковал мое сердце страхом. Когда же поток стал редеть, из сплошной массы начали выделяться отдельные особи. Это были уродливые волосатые чертенята, а может, и обезьяны – дьявольские карикатуры на этих уважаемых животных. От их молчания мороз пробежал по коже. Даже когда один из оставших привычно, отработанным приемом ухватил более слабого, чтобы им закусить, даже тогда я не услышал ни звука. Остальные с жадностью набросились на остатки этого безмолвного пиршества. И вот тогда, несмотря на отвращение и страх, любопытство, которое все это время направляло мои поиски, взяло верх. Я вытащил пистолет и, когда последний из уродцев выбрался наружу из неведомого кошмарного мира, пристрелил его под прикрытием грома.

Пронзительный визг... упоение кровавой охотой... мятущиеся тени, преследующие друг друга в ярких коридорах, прорезаемых молниями... бесплотные призраки, калейдоскопические смены омерзительных сцен... лес и в нем патологически пышные, перекормленные дубы, чьи змеевидные, сплетенные корни тянут неведомые соки из земли, кишашей миллионами дьявольских существ, пожирающих друг друга... замаскированные под холмы щупальца, протянувшиеся из самого центра подземного злокачественного образования... невиданные по силе грозы, бушующие над заросшими плющом мрачными стенами и аркадами, утопающими в пышных зарослях... К счастью, инстинкт привел меня, от страха почти лишившегося чувств, к людям – в мирную деревушку, безмятежно спавшую в мерцании звезд на побледневшем уже небе.

Через неделю я настолько оправился от потрясения, что послал в Олбани за людьми, которым поручил взорвать динамитом дом Мартенсов вместе с вершиной Горы Бурь. Они же должны были уничтожить все подземные ходы под змеевидными холмами, а также выкорчевать перекормленные дубы с пышными кронами, один вид которых мог повергнуть в безумие. Только после завершения этих работ я стал иногда понемногу спать, хотя с тех пор, зная тайну затаившегося страха, уже никогда не мог спать спокойно. Меня преследовала мысль: а вдруг не вся нечисть погибла? И кто знает, не может ли нечто подобное возникнуть еще где-нибудь? Трудно без страха размышлять о неведомых земных кавернах, обладая моим знанием. До сих пор я не могу без содрогания видеть колодец или вход в метро... Ну почему доктора не дадут мне какое-нибудь лекарство, чтобы я наконец нормально уснул, почему не успокоят пылающий мозг?

Разгадка тайны, открывшаяся мне во время вспышки, когда я выстрелил в молчаливое, отставшее от других существо, оказалась настолько проста, что прошла по меньшей мере минута, прежде чем я все осознал. Вот тогда-то меня и обуял подлинный ужас. У этого омерзительного гориллоподобного уродца была сизоватая кожа, желтые клыки и свалывшиеся волосы. Явно предел вырождения – плачевный результат изолированного существования, родственных браков и каннибализма; живое воплощение хаоса и звериного оскала страха, таящихся под землей. Уродец глядел на меня в предсмертной агонии, и его глаза своей необычностью напомнили мне другие, виденные под землей и пробудившие тогда неясные воспоминания. Один глаз был голубой, другой – карий. Именно такими, согласно преданьям, были глаза Мартенсов. И тогда в приступе безмолвного ужаса я понял, что случилось с исчезнувшей семьей, с этим проклятым домом Мартенсов, ввергнутым в безумие громами.

Заточенный с фараонами

I

Тайна тайну призывает. С тех пор как имя мое стало широко известно в качестве исполнителя необъяснимых свершений, мне пришлось сталкиваться со странными повествованиями и событиями, которые мое призвание заставило людей связывать с моими интересами и деятельностью. Некоторые из них оказывались тривиальными и незначительными, другие глубоко драматическими и увлекательными, третьи оставляли по себе странные и опасные переживания, а четвертые заставляли погружаться в широкие научные и исторические исследования. О многих из этих фактов я рассказывал и буду рассказывать очень свободно; однако среди них существует один, о котором я упоминаю с великими колебаниями, и берусь теперь излагать лишь после самых настоятельных уговоров со стороны издателей этого журнала, слыхавших смутные слухи о нем от некоторых членов моего семейства.

Этот доселе сохранявшийся в тайне вопрос имеет отношение к моему не связанному с профессиональными интересами пребыванию в Египте четырнадцать лет назад, упоминать о котором я избегал по нескольким причинам. В частности, я не расположен использовать кое-какие, несомненно реальные, факты и условия, явным образом неизвестные мириадам туристов, кишящих вокруг пирамид, и преднамеренно засекреченные каирскими властями, которые просто не могут не знать о них. Кроме того, мне не хочется воспоминать инцидент, в котором столь великую роль сыграла моя разыгравшаяся фантазия. То, что я видел – или мне, во всяком случае, казалось, что видел, – бесспорно, не имело места в реальности; и впечатления эти следует считать результатом моих тогдашних занятий египтологией и размышлений на эту тему, которые естественным образом провоцировало мое окружение. Эти воображаемые стимулы, преувеличенные волнением действительного, само по себе ужасного события, вне сомнения способствовали великому ужасу той давней теперь ночи.

В январе 1910 года я завершил персональный ангажемент в Англии и подписал контракт на гастроль по театрам Австралии. Поскольку на поездку было отпущено достаточно времени, я решил совершить ее наиболее интересным для себя образом; и потому в обществе жены приятным образом пересек континент и в Марселе поднялся на борт парохода «Мальва» компании P & O¹, направлявшегося в Порт-Саид. Оттуда я намеревался посетить основные исторические местности нижнего Египта, прежде чем наконец отправиться в Австралию.

Путешествие происходило вполне удовлетворительным образом, и его оживляли многочисленные забавные случайности, выпадающие на долю иллюзиониста в свободное от работы время. Я намеревался спокойствия ради хранить свое имя в тайне; однако был вынужден явить себя благодаря стараниям собрата-фокусника, чье стремление изумить пассажиров обыкновенными трюками заставило меня повторить и превзойти его достижения в манере, губительной для моего инкогнито. Я упоминаю об этом благодаря итоговому эффекту – который мне следовало предвидеть, прежде чем объявлять себя перед кораблем, полным туристов, намеревающихся вот-вот разъехаться по всей Нильской долине. Вследствие этого о персоне моей становилось известно повсюду, где бы мы впоследствии ни оказывались, что лишило нас тихой неизвестности, которой мы искали. Путешествуя в поисках достопримечательностей, я сам нередко превращался в некий курьез!

¹ Peninsular and Oriental Steamship Company – крупная судоходная компания, осуществляющая рейсы в Индию, Австралию и на Дальний Восток.

Мы прибыли в Египет в поисках живописных и впечатляющих мистикой мест, однако, когда корабль прибыл в Порт-Саид и выгрузил на берег пассажиров на небольших лодках, не обнаружили практически ничего. Невысокие песчаные дюны, бакены, раскачивающиеся на мелкой воде, и сонный европейский городок, лишенный каких-либо достопримечательностей, если не считать большого памятника де Лессепсу², заставили нас немедленно заняться поисками чего-либо более достойного нашего внимания. После некоторого обсуждения мы решили немедленно отправиться в Каир, к пирамидам, а потом вернуться в Александрию для посадки на австралийский корабль, – и ради всех греко-римских достопримечательностей, которыми может похвастаться древняя метрополия.

Железнодорожное путешествие оказалось достаточно сносным и заняло всего четыре с половиной часа. Мы увидели большую часть Суэцкого канала, вдоль которого доехали до самой Исмаилии, а потом вкусили от египетской древности, увидев восстановленный пресноводный канал Среднего царства. Затем перед нами возникли огоньки Каира, мерцавшие в наступавших сумерках; россыпь звездочек превратилась в ослепительное сияние, когда мы остановились на большом *Gare Centrale* – Центральном вокзале.

Однако здесь нас немедленно ожидало новое разочарование, ибо вокруг оказалось типично европейское зрелище, если не считать облика толпы и ее нарядов. Прозаичная подземка привезла нас на площадь, кишашую экипажами, такси, трамваями и блистающую великолепием электрических огней на высоких домах; в то время как сам театр, куда меня тщетно зазывали представлять и который я впоследствии посетил в качестве зрителя, был недавно переименован в «Америкен Космограф». Мы остановились в отеле «Шепардс», добравшись до него в такси, промчавшемся по широким, опрятно обстроенным улицам; и посреди идеального обслуживания в ресторане, лифтов и прочих англо-американских роскошеств таинственный Восток и незапамятная древность откатились в неведомую даль.

Впрочем, следующий день восхитительным образом перенес нас в самое сердце атмосферы 1001 ночи; и Багдад Гарун-аль-Рашида заново ожил в кривых улочках и экзотических контурах Каира. Следуя указаниям нашего Бедекера, мы направились на восток мимо садов Езбекия прямо по Муски в поисках старого города и скоро оказались в руках шумного чичероне, который – невзирая на последующий поворот событий – безусловно был мастером своего дела.

Только потом я сообразил, что мне следовало бы запросить в отеле имеющего соответствующую лицензию гида. Этот человек, бритый, обладающий каким-то особо гулким голосом и относительно чистый, был похож на фараона и называл себя именем «Абдул Реис-эль-Дрогман», кроме того, он как будто бы обладал некоей властью над прочими представителями своего ремесла; хотя впоследствии полиция объявила, что такового не знает, и намекнула на то, что слово «реис» попросту означает начальника, а «дрогман» представляет собой неуклюжее искажение должности руководителя туристической группы – драгомана.

Абдул провел нас по таким чудесным местам, о которых мы прежде только читали и мечтали. Старый Каир сам по себе книга историй и грез, со своим сонным лабиринтом узких улочек, благоухающих тайной, узорчатыми открытыми и закрытыми балконами, едва не сходящимися над мостовыми, водоворотом восточного уличного движения с его странными криками, шелканьем кнутов, грохотом повозок и ослиными воплями, калейдоскопом пестрых одеяний, вуалей, тюрбанов и фесок; водоносами и дервишами, собаками и кошками, предсказателями и брадобреями; и поверх всего гама – стенаниями слепых нищих, скрючившихся в нишах, и звучным напевом муэдзинов, доносящимся с минаретов, изящно вырисовывающихся на фоне неизменно синего неба.

² Фердинанд Мари де Лессепс (1805–1894) – французский дипломат, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала.

Не менее привлекательными казались и крытые, более спокойные базары. Пряности, духи, бусины благовоний, коврики, шелка и медь – старый Махмуд Сулейман сидит, скрепив ноги посреди своих липких бутылок, в то время как болтливые юнцы растирают горчицу в выдолбленной капители древней классической коринфской колонны римского времени, быть может, привезенной из соседнего Гелиополя, в котором Август разместил один из трех своих египетских легионов. К древности начала примешиваться экзотика. А затем были мечети и музей – мы побывали повсюду и постарались не позволить нашему арабскому пиршеству покориться мрачному очарованию Египта времен фараонов, которое источали бесчисленные сокровища музея. Этому мгновению предстояло сделаться вершиной нашей экскурсии, и потому мы сконцентрировали свое внимание на сарацинском великолепии халифов, чьи великолепные мечети-гробницы образуют блестящий и сказочный некрополь на краю арабской пустыни.

Наконец Абдул повез нас по Шариа Мохаммед-Али к древней мечети Султана Хасана и обрамленной башнями Бабель-Азаб, позади которой между крутых стен проход поднимается к могучей крепости, воздвигнутой самим Саладином из камней забытых пирамид. Мы осилили этот подъем уже на закате и, обогнув современную мечеть Мохаммеда-Али, получили возможность воззреть с отвесного парапета на таинственный Каир – Каир мистический с его резными куполами, неземными минаретами и полыхающими садами.

Вдали над городом возвышался громадный романский купол нового музея; а за ним – за полным загадок и тайн Нилом, отцом веков и династий – прятались грозные пески Ливийской пустыни со своими неподвижными волнами, радужным блеском и злобой еще более древних арканов.

Багровое солнце опускалось все ниже, принося вместе с вечером непременную прохладу египетских сумерек; на мгновение остановившись на ободке мира подобно древнему богу Гелиополя – Ра-Хорахти, Солнцу, стоящему на горизонте, – оно обрисовало на фоне своего медного кипения черные контуры пирамид Гизе – палеогеновых гробниц, тысячелетних уже в те времена, когда Тутанхамон восходил на свой позолоченный трон в далеких Фивах. Тут мы поняли, что знакомство с Каиром сарацин для нас завершилось и пришла пора вкусить от глубоких тайн Египта первобытного – черной Кем Ра и Амона, Изиды и Осириса.

На следующее утро мы посетили пирамиды, проехав в виктории³ по острову Хизерех среди массивных деревьев-леббях и по узкому английскому мосту перебравшись на западный берег. Мы ехали по прибрежной дороге между рядами высоких леббяхов мимо просторного Зоологического сада к пригороду Гизе, там, где с тех пор построен новый мост в Каир. Затем, повернув от реки по Шариа-эль-Харам, мы пересекли несколько заполненных как бы остекленевшей водой каналов и неопрятных туземных деревенок, и вот наконец перед нами воздвиглась цель нашего путешествия, прорезавшая утренний туман и отбрасывавшая отраженные к нам вершинами отражения в придорожных лужах. Сорок веков, как говорил Наполеон своим солдатам, и в самом деле смотрели на нас. Дорога резко пошла в гору, и мы наконец добрались до места пересадки между трамвайной станцией и отелем Мена-хаус. Абдул Реис, толковым образом приобретший нам билеты на проход в пирамиду, похоже, находился в полном согласии с толпой вопящих и обидчивых бедуинов, населявших находившуюся чуть поодаль жалкую сырцовую деревеньку и словно саранча облеплявших каждого путешественника: он непринужденно удержал их в стороне от нас и раздобыл для нас пару великолепных верблюдов, усевшись при этом на осла и доверив предводительство нашими животными группе мужчин и мальчишек, скорее являвшихся напрасным расходом, чем полезных нам. Преодолеть следовало ничтожное расстояние, однако мы не стали сожалеть о приобретенном опыте передвижения по пустыне.

³ Легкая четырехколесная коляска с откидным верхом.

Пирамиды располагаются на высоком скальном плато, и эта группа их примыкает к самому северному из ряда царских и аристократических кладбищ, сооруженных в окрестностях бывшей столицы, города Мемфис, находившегося на том же самом берегу Нила несколько южнее Гизе и процветавшего между 3400 и 2000 годами до Р. Х. Самая большая из пирамид, находящаяся ближе всего к современной дороге, была построена царем Хеопсом или Хуфу около 2800 года до Р. Х; высота ее превышает 450 футов. Вдоль одной, направленной на юго-запад линии от нее последовательно выстроились Вторая пирамида, построенная в следующем поколении царем Хефреном и несколько уступающая Первой по величине, но кажущаяся более высокой благодаря своему расположению на более высоком месте, и существенно меньшая третья пирамида царя Микерина, построенная около 2700 года до Р. Х. Возле края плато точно на восток от второй пирамиды находится чудовищный Сфинкс – немой, сардоничный и мудрый превыше всякой доступной человечеству и его памяти мудрости – колоссальный лик которого, вероятно, был изменен в подобие портрета своего царственного реставратора Хефрена.

Малые пирамиды и следы разрушенных малых пирамид обнаруживаются здесь в нескольких местах, и все плато буквально усеяно могилами людей знатных, но не имевших царственного ранга. О последнем первоначально свидетельствовали мастабы – каменные, похожие на скамейку сооружения, воздвигнутые над глубокими погребальными шахтами, подобные тем, что присутствуют на других мемфисских кладбищах, и примером им может служить гробница Пернеба, находящаяся в нью-йоркском музее Метрополитен. В Гизе, однако, все подобные видимые детали давно были снесены временем и мародерством; и только высеченные в скале шахты, либо заполненные песком, либо расчищенные археологами, свидетельствуют об их былом существовании.

С каждой из подобных гробниц соединялся небольшой храм, в котором священники и родственники потчевали пищей и молитвой парящий здесь *ка* – жизненный принцип покойного. В небольших гробницах заупокойные храмы находились прямо в каменных мастабах или надстройках, но посмертные святилища пирамид, в которых лежали царственные фараоны, представляли собой отдельные храмы, каждый из которых находился с востока от соответствующей пирамиды и был соединен мощеной дорогой с массивными пропилеями или привратным храмом у края каменного плато.

Привратный храм, ведущий ко Второй пирамиде, почти погребенный в сыпучих песках, зияет из-под земли к юго-востоку от Сфинкса. Существующая традиция настойчиво величает это сооружение «Храмом Сфинкса»; и его действительно можно было бы назвать таковым, если сфинкс и в самом деле имеет отношение к строителю Второй пирамиды Хефрену. Существуют не очень приятные повествования о Сфинксе в предшествующие Хефрену времена, но каковыми бы ни были его прежние черты, монарх заменил их собственными, чтобы его люди могли взирать на колосса без страха.

Именно в огромном привратном храме была обнаружена диоритовая статуя Хефрена в полный рост, находящаяся теперь в Каирском музее; впервые узрев ее, я застыл перед нею в трепете. Не знаю, раскопано ли к настоящему времени все сооружение, но в 1910 году большая часть его еще была укрыта землей, а на ночь вход надежно запирался. Работой ведали немцы, и, возможно, их остановила война или нечто другое. С учетом пережитого мной, а также ходящих среди бедуинов слухов, не встречающих доверия или неизвестных в Каире, мне хотелось бы узнать, что было обнаружено в связи с неким колодцем в поперечной галерее, где были найдены статуи фараонов, любопытным образом противопоставленные изваяниям павианов.

Дорога, по которой несли нас верблюды, резко огибала расположенные слева деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и уходила на юг и восток полным поворотом, обращая нас лицом к пустыне с подветренной стороны Великой Пирамиды. Мимо циклопической кладки ехали мы, огибая восточный фас над долиной малых пирамид, за которой

на востоке поблескивал вечный Нил, а на западе жаром мерцала столь же вечная пустыня. Над нами возвышались три великие пирамиды, самая крупная из которых давно была лишена внешней облицовки и являла ряды огромных камней кладки, однако на остальных облицовка кое-где сохранилась, напоминая о том законченном виде, который она имела в свой день.

Наконец мы спустились к Сфинксу и сели в безмолвии под жутким взглядом его незрячих глаз. На громадной каменной груди мы едва различили эмблему Ра-Хораhti, за изображение которого Сфинкса ошибочно принимали в позднее династическое время; и хотя песок засыпал плиту, находящуюся между огромными лапами, мы вспомнили, что начертал на ней Тутмос IV, и о сне, который он видел еще до восшествия на престол. Именно в этот момент улыбка Сфинкса начала смутно раздражать нас, напоминая про легенды о подземных переходах под чудовищным изваянием, уводящих вниз, вниз, вниз, в глубины непостижимые, намекающие на тайны куда более древние, чем раскопанный нами династический Египет, связанные с доселе влачащимся бытием необычайных обладателей звериных голов – богов древнего египетского пантеона. Тут я и задал себе праздный вопрос, точному значению которого предстояло проявиться лишь по прошествии многих часов.

Нас уже догоняли другие туристы, и потому нам пришлось перейти к находившемуся в пяти десятках ярдов к юго-востоку от нас засыпанному песком храму Сфинкса, который я выше назвал великими вратами дороги к погребальному храму Второй пирамиды. Большая часть его по-прежнему находилась под землей, и хотя мы спешили и спустились по современному ходу в ее алебастровый коридор и многостолпный зал, я почувствовал, что Абдул и местный немец-служитель не показали нам всего, что можно было увидеть.

После этого мы, как положено, совершили обход плато, осмотрев Вторую пирамиду и расположенные к востоку замечательные руины ее погребального храма, Третью пирамиду вместе с ее миниатюрными спутниками, разрушенный восточный храм, шербатые сооружения Четвертой и Пятой династий и знаменитую гробницу Кэмпбелла, чья темная шахта опускается отвесно на пятьдесят три фута к зловещему саркофагу, который один из наших верблюдах погонщиков очистил от лишнего песка, ловко спустившись к нему по веревке.

Теперь до нашего слуха донеслись вопли от Великой Пирамиды, где бедуины осаждали группу туристов предложениями ускорить индивидуальный подъем и спуск обратно. Говорят, что подобное мероприятие можно проделать за семь минут, однако многочисленные алчные шейхи и сыновья шейхов уверяли нас в том, что они могут урезать это время до пяти минут, если посодействовать для этой цели щедрым бакшишем. Стимула этого они не получили, но Абдул повел нас наверх, таким образом открывая перед нами полный беспрецедентного великолепия вид, одаривший нас не только зрелищем далекого сверкающего Каира с венчающей его цитаделью на фоне золотисто-фиолетовых холмов, но и на все пирамиды мемфисского района, от Абу Роаш на севере до Дашура на юге. Очертания ступенчатой пирамиды Саккары, отмечающей собой этап эволюции невысокой мастабы к подлинной пирамиде, заманчиво маячили в песчаной дали. Знаменитая гробница Пернеба была обнаружена ближе к этому этапному сооружению – более чем в четырех сотнях миль к северу от фиванской скалистой долины, в которой почивает Тутанхамон. И вновь благоговейный трепет заставил меня замолчать. Перспектива подобной древности и тайны, которыми был полон каждый задумчивый монумент, наполнили меня почтением и таким ощущением величия, как ничто другое.

Утомленные подъемом и назойливыми бедуинами, поступки которых во всем противоречили правилам хорошего тона, мы отказались от тяжелого и многотрудного дела посещения внутренностей пирамид, хотя успели заметить нескольких среди самых закаленных туристов, готовящихся к удушливому путешествию по недрам великого мемориала Хеопса. Переплатив нашему местному телохранителю и отпустив его, мы возвращались в Каир под вечерним солнцем в обществе Абдула Реиса, уже едва не сожалея о своем отказе – такие удивительные слухи ходили о коридорах под пирамидами, не обозначенных в путеводителях, – ходах, спешно

заложенных и сокрытых неразговорчивыми археологами, обнаружившими и эксплуатировавшими их.

Конечно, по правде говоря, шепотки эти были во многом безосновательными; однако любопытство вызывал уже тот факт, что туристам настойчиво запрещалось посещать пирамиды по ночам, а также спускаться в нижние ходы и крипту Великой Пирамиды. В последнем случае власти, быть может, опасались психологического эффекта – когда человек мог почувствовать себя раздавленным целым миром твердого камня, оставаясь соединенным с известным ему миром узким ходом, по которому можно только ползти и который легко может перекрыть несчастный случай или злой умысел.

Вопрос этот показался нам настолько интересным, что мы решили нанести еще один визит к пирамидам при первой же возможности. И возможность эта посетила меня много раньше, чем я ожидал.

В тот вечер члены нашей группы ощутили утомление после напряженной дневной программы, а я в компании Абдула Реиса отправился на прогулку по живописному арабскому кварталу. Хотя я успел повидать его днем, мне было интересно познакомиться с переулками и базарами в сумерках, когда густые тени и сочные проблески света добавляют очарования фантастической иллюзии. Туземная толпа редела, однако по-прежнему оставалась очень шумной и многочисленной, когда мы наткнулись на кучку веселящихся бедуинов, расположившихся на Сукен-Наххасин, или базаре медников. Явный глава этой группы, высокомерный юноша с тяжелыми чертами лица и в дерзко сдвинутой феске, обратив на нас некоторое внимание, без особой приязни узнал моего компетентного, но явно надменного и склонного к насмешке проводника.

Быть может, подумал я, ему не понравилась странная копия почиющей на лице Сфинкса полуулыбки, которую я частенько отмечал с удивлением и некоторым раздражением; или же ему не понравились отголоски гулко и замогильного голоса Абдула. Во всяком случае оскорбительный обмен словами быстро обрел ярость; и как только Али-Зиз, так мой проводник называл незнакомца в промежутке между оскорбительными эпитетами, яростно вцепился в одеяние Абдула, тот немедленно последовал данному примеру, и в результате начавшейся стычки оба соперника потеряли свои освященные обычаем головные уборы и, наверно, перешли бы к еще более жесткому противостоянию, если бы я не вмешался и не разделил их с помощью силы.

Мое вмешательство, поначалу воспринятое как нежелательное обеими сторонами, тем не менее привело к заключению перемирия. Оба угрюмых воителя сдержали свой гнев, поправили одеяния и с выражением достоинства столь же глубокого, сколь и внезапного, заключили любопытный и полный высшей достоинства пакт, который, как я скоро узнал, уходит своими корнями в весьма древние времена и требует улаживания разногласий ночным кулачным поединком на вершине Великой Пирамиды после того, как окрестности ее покинет последний любитель лунного света. Каждый дуэлянт имел право привести с собой отряд секундантов, и самым цивилизованным образом предусматривавшее несколько раундов действия должно было начаться в полночь. Во всем предстоящем событии было нечто, весьма заинтересовавшее меня. Уникальный характер предстоящей драки сулил зрелищность; в то же время мысль, что все это будет происходить под бледной убывающей луной на седой глыбе, возвышающейся над допотопным плато Гизе, будила в моей душе все фибры воображения. Высказанная мной просьба позволила установить, что Абдул просто мечтал включить меня в свой отряд секундантов; так что все начало вечера я сопровождал его по различным притокам в самой незаконной части города – по большей части к северо-востоку Езбекие, – где он собрал по одному внушительную шайку избранных и родственных ему головорезов, готовых послужить фоном для кулачного поединка.

Сразу же после девяти наш отряд, водрузившись на ослов с такими царственными или значимыми для туристов именами как *Рамзес*, *Марк Твен*, *Джи-Пи Морган* и *Миннегага*, протиснулся по узким уличным лабиринтам как восточного, так и западного образца, пересек мутный Нил, над которым поднимался лес мачт, и философической рысью между рядами леб-бакхов потрусил по дороге к Гизе. На путешествие ушло чуть более двух часов, и, завершая его, мы наткнулись на последнюю группу возвращавшихся от пирамид туристов, отсалютовали последнему трамваю и остались наедине с ночью, прошлым и призрачной луной.

Тут наконец в конце дороги показались гигантские пирамиды, призрачные, чреватые некоей неявной атактистической угрозой, которой в дневное время я не заметил. Даже в самой малой из них угадывался намек на нечто жуткое – ибо разве не в ней заживо похоронили царицу Нитокрис во времена Шестой династии... хитроумную царицу Нитокрис, пригласившую однажды всех своих врагов на пиршество в подземный, расположенный под Нилом храм и утопившую их, открыв водяные затворы? Я вспомнил, что арабы разное рассказывали о Нитокрис и при некоторых фазах луны избегали посещать Третью пирамиду. Должно быть, о ней размышлял Томас Мур, записавший предание мемфисских лодочников: «Подземная нимфа, чей дом в славе и злате сокрыт, не ведающая солнца госпожа Пирамид!»

При всем том, что мы не медлили, Али-Зиз и его спутники опередили нас; и мы увидели очертания их ослов на фоне пустынного плато у Кафрель-Харам, нищего, соседствующего со Сфинксом арабского поселения, к которому мы отклонились вместо традиционного маршрута, следующего к дому Мины, около которого сонные и бездеятельные полицейские могли бы заметить и остановить нас. Здесь, пока грязные бедуины размещали своих верблюдов и ослов в каменных гробницах придворных Хефрена, нас повели вверх по скалам и по песку к Великой пирамиде, на истертых временем сторонах которой уже копошились арабы, и Абдул Реис предложил мне помощь, в которой я не нуждался.

Как известно большинству путешественников, подлинную вершину этого сооружения давно уже съело время, оставив относительно плоскую платформу в виде квадрата со стороною двенадцать ярдов. На этой жуткой площадке образовался кружок, и через несколько мгновений ехидная пустынная луна с усмешкой уставилась на баталию, которая, если не считать качества воплей «секундантов», вполне могла бы происходить в одном из мелких американских атлетических кружков. И наблюдая за ней, я ощутил, что в происходящем присутствуют и некоторые из наших наименее желанных институций; ибо каждый удар, выпад и защита казались ошеломляющими для моего неопытного взгляда. Поединок завершился с достаточной быстротой, и, невзирая на известную неприязнь к методам, я ощутил некую гордость собственника, когда Абдула Реиса провозгласили победителем.

Примирение оказалось феноменально быстрым, и посреди пения, братания и общей выпивки мне было трудно даже вспомнить о том, что все началось с ссоры. Как ни странно, я в большей степени ощущал себя центром внимания, чем бывшие бойцы; и если доверять моему знанию арабского, они обсуждали мои профессиональные выступления и умение избавляться от всякого рода оков и выбираться из тесных помещений в манере, не только обнаруживавшей удивительное знание моих достижений, но и заметную враждебность и сомнение в моих талаантах. И мне постепенно стало понятно, что древняя магия Египта исчезла не без следа и что обрывки неведомых и тайных познаний и жреческих культовых практик таинственным образом сохранились в среде феллахов в такой степени, которая позволяла им сомневаться в способностях странного волшебника-хахви и оспаривать их. И я припомнил, что мой гулко-голосый Абдул Реис похож на древнеегипетского жреца, а может быть, на фараона или улыбающегося Сфинкса... и крепко задумался.

И тут произошло нечто такое, что в мановение ока доказало правильность моих подзрений и заставило обругать себя за тупость, с которой я позволил себе воспринимать события этой ночи не как злоумышленный спектакль, которым они на деле являлись. Без всякого

предупреждения и, вне сомнения, по тайному знаку, данному Абдулом, вся банда бедуинов набросилась на меня; после чего, достав из-под одеяний крепкие веревки, они связали меня настолько надежно и прочно, как мне никогда не случалось быть связанным во всей своей жизни – как на сцене, так и вне ее.

Сперва я сопротивлялся, однако скоро понял, что один человек не в состоянии противостоять банде более чем из двадцати жилистых варваров. Руки мои оказались связанными за спиной, колени прижали к груди, а запястья и лодыжки скрутили неподатливыми веревками. В рот мой втиснули удушающий кляп, а на глазах затянули плотную повязку. После этого арабы взвалили меня на плечи и начали неловкий спуск с пирамиды, и я услышал полные ехидства словеса моего так называемого проводника Абдула, с насмешкой и явным довольством в голосе уверявшего меня в том, что мои «магические» способности скоро будут подвергнуты высшему испытанию, которое собьет с меня всю спесь, накопившуюся за время триумфальных выступлений в Европе и в Америке.

Египет, напомнил он мне, очень стар и полон глубинных мистерий и древних сил, непостижимых даже для знатоков века сего, чьи ухищрения так и не смогли уловить меня.

В каком направлении и долго ли меня несли, сказать не могу, ибо мое положение никак не способствовало формированию сколь-нибудь точного суждения. Понятно мне только то, что далеко унести меня не могли, поскольку несшие меня люди ни разу не ускорили шаг, и все же держали меня на руках совсем недолго. И эта возмутительная краткость смущает меня более всего, когда я думаю о Гизе и этом плато – ибо мороз пробирает по коже при мысли о том, насколько близко находится то, что могло существовать и поныне существует, от повседневных туристических маршрутов...

Чудовищная аномалия, о которой я говорю, проявила себя не сразу.

Опустив меня на поверхность, в которой я признал скорее песок, чем камень, похитители обхватили мою грудь веревкой и проволокли несколько футов до неровного отверстия в земле, в которое меня и спустили без особого почтения к моей персоне. Целую вечность бока мои ударялись о неровные камни узкого колодца, который я принял за одну из многочисленных погребальных шахт плато, пока наконец невероятная, почти невозможная глубина его не лишила меня любых оснований для сравнения.

Ужас происходящего с каждой секундой приобретал новую силу. Представление о том, что спуск в недра прочной скалы может длиться очень долго, но так и не достичь центра самой планеты Земля, или что сделанная человеком веревка может казаться настолько длинной, чтобы опустить меня в нечестивые и бездонные недра нечистой земли, казалось настолько гротесковым, что легче было усомниться в свидетельствах моих возбужденных чувств, чем признать его. Даже теперь я не испытываю уверенности, ибо знаю, насколько искажается восприятие времени, когда ты находишься в столь затруднительном положении. Однако я уверен лишь в том, что в то время еще сохранял логическое сознание и не добавил к и без того жуткой реальной картине призраков, рожденных разгулявшимся воображением и объясняющихся мозговой иллюзией, граничащей с подлинной галлюцинацией.

Однако не это стало причиной моего первого обморока. Жуткое испытание только началось, и предчувствие грядущих ужасов становилось все более четким по мере спуска. Невроятно длинную веревку, на которой я висел, разматывали теперь очень быстро, и при движении вниз я жестоко ссаживал кожу об узкие и неровные стены шахты в своем стремлении вниз. Одежда моя порвалась, во многих местах я ощущал кровь на теле, а кроме того, острую и все возрастающую боль. Ноздрям моим докучала тем временем непонятная угроза: ползучий запах, сырой и затхлый, странным образом не похожий на все, которые мне приводилось ощущать прежде, но несущий в себе обертоны специй и благовоний, отдававших явной насмешкой.

И тут произошел умственный катаклизм. Жуткий, ужасный, неопиcуемый, ибо он целиком совершался в душе, не допуская малейших деталей экстаз кошмарного призыва

к бесам. Внезапность его была сразу апокалиптической и демоничной – только что я несясь вниз по узкому каменному жерлу, словно терзавшему меня миллионом зубов, а в следующий миг уже парил на перепончатых крыльях над безднами ада, свободно переносясь сквозь бес-предельные мили безграничного и затхлого пространства, взмывая к не знающим измерения башням ледящего эфира, а затем обрушиваясь к вязким топям надиров жадного и тошнотворного нижнего вакуума... Благодарю Бога за милосердие, с которым Он отослал меня в забвение, избавившее меня от этих фурий сознания, едва не повредивших мой рассудок и подобно гарпиям терзавших мой дух!

Забвение это, при всей его краткости, вернуло мне силы и здравый смысл, позволившие выдержать те еще большие приступы космической паники, уже таившиеся и несшие свою око-лесицу впереди.

II

После бесовского полета через стигийское пространство сознание возвращалось ко мне очень постепенно. Процесс этот оказался бесконечно болезненным и раскрашенным фантастическими видениями, которым особо способствовало состояние моего тела – связанного и лишенного голоса. Точная натура этих видений была очень очевидной в момент переживания их, однако почти сразу после этого затуманилась в моей памяти, а вскоре от нее вообще осталось только воспоминание цепочки ужасных событий, воображаемых или реальных. Мне казалось, будто я побывал в жуткой огромной лапе; желтой, пятипалой и волосатой, высунувшейся из земли, чтобы захватить и раздавить меня. А когда я остановился, чтобы понять, что представляет собой эта лапа, мне показалось, что это Египет. В забвении я перенесся к событиям предшествовавших недель, и увидел, как меня понемногу обольщает тонкими и коварными кознями некий адский упырь, дух древнего египетского колдовства, дух, пребывавший в Египте до появления на земле человека и который останется здесь, когда человека не будет более.

Я увидел весь ужас и нечестивую древность Египта, тот грязный союз, в котором он пребывал всегда с гробницами и храмами мертвых. Я увидел призрачные процессии жрецов с головами быков, соколов, котов и ибисов, беспрепятственно проходящие по подземным лабиринтам и перспективам титанических пропилей, рядом с которыми человек уподобляется мошке; фантомные шествия, возносящие неназываемые приношения неопишущим богам. Каменные колоссы шествовали посреди бесконечной ночи, гоня перед собой стада ухмыляющихся человеко-сфинксов вниз, к берегам беспредельных рек стоячего дегтя. И за всем этим угадывалась несказуемая скверна первобытной некромантии, черной, аморфной, жадно шарящей по тьме за моей спиной в стремлении удушить дух, посмеявшийся подразнить ее подражанием.

В спящем мозгу моем сложилась мелодрама злобной ненависти и погони, и я увидел черную душу Египта, выделившую меня среди прочих и зовущую к себе неслышными шепотами; призывающую и завлекающую меня, проводящую меня по блеску и великолепию сарацинской поверхности, но неизменно увлекающую вниз – в безумной древности катакомбы, к ужасам его мертвого, канувшего в бездну фараонического сердца.

Затем лики видения приняли человеческий облик, и я увидел своего проводника Абдула Реиса в царственном облачении и с насмешкой Сфинкса на лице. Тут я понял, что черты его были чертами самого Великого Хефрена, придавшего лику Сфинкса черты собственного лица и построившего Вторую пирамиду и тот титанический храм с мириадами коридоров, которые археологи якобы выкопали из таинственного песка и неразговорчивой скалы. И я посмотрел на длинную и худую, сухую руку Хефрена; длинную, тонкую и сухую руку диоритовой статуи, которую видел в Каирском музее, – статуи, которую нашли в том жутком привратном храме, – и удивился тому, что не закричал, увидев ее у Абдула Реиса... Эта рука! Жутко холодная, она давила меня; в ней ощущался холод и тяжесть саркофага, весь холод и утеснение незапамятного Египта... Это был сам ночной, кладбищенский Египет... та желтая лапа... о Хефрене поговаривают такое...

Однако в данном месте я начал пробуждаться – или хотя бы входить в состояние менее сонное, чем то, что предшествовало ему. Я вспомнил поединок наверху пирамиды, коварных бедуинов и их нападение, жуткий спуск на веревке в недра бесконечной скалы и безумное погружение в хладную пустоту, благоухающую ароматичным тленом. Я ощутил, что лежу теперь на сыром каменном дне и что оковы мои, как и прежде, врезаются в мою плоть с неслабеющей силой. Было очень холодно, и я как будто бы почувствовал слабый ток докучливого ветерка, коснувшегося моего тела. Ссадины и ушибы, заработанные во время спуска по неровному жерлу, болели неимоверно, ощущение это усиливалось некоей колкой или жгучей ноткой

в слабом сквозняке, и одного стремления просто перекатиться на другой бок было достаточно, чтобы тело мое пронзила невероятная боль.

Поворачиваясь, я ощутил сопротивление сверху, и заключил, что веревка, на которой меня спустили вниз, по-прежнему связывает меня с поверхностью. Не знаю, держали ли ее арабы в своих руках или нет; не имею и малейшего представления о том, насколько глубоко в недра земли меня опустили. Я ощущал, что меня окружала полная или почти полная тьма, поскольку повязку на глазах моих не пронзал ни единый лучик лунного света; однако я недостаточно доверял своим чувствам, чтобы без сомнений принять их свидетельство в том, что нахожусь на чрезвычайной глубине, как и в том, что спуск мой имел огромную длительность.

Во всяком случае, зная, что я нахожусь в пространстве, значительно удаленном от отверстия в поверхности земли наверху, я с некоторым сомнением пришел к выводу о том, что тюрьмой моей, должно быть, явился подземный храм старого Хефрена – Храм Сфинкса – или, быть может, какие-то внутренние коридоры его, которые мои проводники не показывали мне во время утреннего посещения и откуда я мог бы отыскать путь к спасению и выбраться на поверхность. Итак, меня ожидало скитание по лабиринту, впрочем, не более сложному, чем те, из которых мне уже случалось находить выход.

Первым делом следовало освободиться от веревок, кляпа и повязки на глазах; что, как я уже знал заранее, не должно было составить для меня особенного труда, поскольку более искусные знатоки, чем эти арабы, успели опробовать на мне всякие путы в течение моей долгой и разнообразной карьеры эскаписта, но так и не смогли преуспеть в опровержении моих методов.

Затем мне пришло в голову, что арабы могли приготовиться к новому нападению возле выхода из подземелья в случае моего вероятного избавления из пут, если его засвидетельствует веревка, которую они, вероятно, не выпускали из рук. Конечно же, при условии, что местом моего заточения и в самом деле был созданный Хефреном Храм Сфинкса. Прямое отверстие в своде пещеры, в каком бы укромном месте оно ни располагалось, не могло далеко отстоять от современного входа, находящегося вблизи Сфинкса; ни о каких существенных расстояниях не могло быть и речи, поскольку полную поверхность доступного посетителям участка трудно назвать колоссальной. Во время дневной экскурсии я не заметил ничего подобного, однако в сыпучих песках проглядеть такое нетрудно.

Обдумывая эти материи, оставаясь скрюченным и связанным на каменном полу, я почти забыл об ужасном спуске в преисподнюю, который недавно чуть не поверг меня в кому. Я думал только о том, чтобы перехитрить арабов и соответствующим образом освободиться, по возможности быстро, стараясь не потянуть за спущенную сверху веревку, способную засвидетельствовать об успешной или напрасной попытке освобождения.

Однако составить план действий оказалось много легче, чем освободиться. Несколько предварительных попыток показали, что без сильных движений не обойдешься; и после одной особенно энергичной из них я почувствовал, что вокруг меня и на меня начали падать сверху кольца веревки. Очевидным образом я решил, что бедуины заметили мои движения и сбросили вниз свой конец веревки, заторопившись, конечно, к подлинному входу в храм, чтобы залечь возле него с кровавыми намерениями в отношении меня.

Перспектива особой радости не сулила – однако в свое время мне приходилось без труда встречать и худшие ситуации, и потому я не дрогнул. Сперва следовало выбраться из пут, а затем довериться собственной изобретательности, чтобы невредимым ускользнуть из храма. Забавно, как мне удалось убедить себя в том, что я пребываю в старом храме Хефрена, что находится возле Сфинкса не столь уж глубоко под землей.

Вера в это была разбита обстоятельством, ужас и значительность которого возрастали уже тогда, когда я составлял свой философический план, заново рождая все явные предчувствия противоестественной смерти и демонической тайны. Я уже говорил о том, что падающая

веревка громоздилась на мне и вокруг меня. Теперь я увидел, что веревочная груда продолжала расти со скоростью, недоступной любой обыкновенной веревке. Падение ее ускорялось, превращаясь в пеньковую лавину, и скоро я оказался почти погребенным под быстро умножающимися и грудящимися все выше и выше кольцами. Вскоре я уже полностью утонул под ними и только пытался восстановить дыхание под новыми и новыми валяющимися сверху петлями, погребавшими и удушавшими меня.

Тут чувства мои вновь пошатнулись, и я попытался отразить сразу и опасную и неизбежную угрозу. Дело было не просто в том, что меня мучили за пределами всякой человеческой меры, не в том, что из меня медленно выдавливали жизнь и дыхание, но в понимании того, что именно подразумевала эта сверхъестественная длина веревки, в осознании того, какие неведомые и неизмеримые земные бездны в данный момент окружают меня. Итак, мой бесконечный спуск и полет через это гоблинское пространство оказались реальными, и значит, в сей миг я лежал беспомощным в безымянной каверне, в глубинах мира. Столь внезапное подтверждение предельного сего ужаса было непереносимым, и я во второй раз погрузился в милосердное забвение.

Впрочем, забвение это не означало отсутствия сновидений. Напротив, исход мой из мира сознания сопровождался видениями, полными самой несокрушимой жути. Бог мой!.. Если бы только я не был настолько начитан в египтологии, прежде чем прибыть в эту землю, являющуюся источником всякой тьмы и ужаса! Этот второй обморок заново наполнил мое спящее сознание трепетным пониманием этой страны и ее древних секретов, и посредством некоего проклятого обстоятельства видения мои обратились к древним представлениям об усопших и их пребывании в душе и теле за пределами тех таинственных гробниц, которые являются скорее домами, чем могилами. Я вспомнил во всех подробностях видения, которые, к счастью, с тех пор забыл, причудливые особенности гробниц Египта и чрезвычайно тонкие и жуткие учения, определившие их конструкцию.

Все эти люди думали только о смерти и об усопших. Они верили в буквальное воскрешение тела, что заставляло их мумифицировать плоть усопших со всей возможной осторожностью и сохранять их жизненно важные органы в кувшинах-канопах, находящихся возле тела, помимо которого, по их мнению, сохранялись два других элемента: душа, которая после взвешивания и одобрения Осирисом обитала в блаженном краю, и таинственный и удивительный жизненный принцип *ка*, жутким образом скитающийся между верхним и нижним мирами, требуя иногда доступа к сохраняемому телу, потребляя жертвенную пищу, приносимую жрецами и благочестивыми родственниками в погребальный храм, а иногда – как шептали люди – овладевая телом покойного или его деревянным двойником, которого всегда хоронили рядом, чтобы зловещим образом скитаться по делам особенно отвратительным.

Тысячи лет тела эти пребывали в великолепном покое своих гробов, обратив незрячий взор к небу, когда их не посещал *ка*, ожидая того дня, когда Осирис заново соединит *ка* и душу и изведет окоченевшие легионы усопших из подземных домов сна. Ожидалось славное возрождение – однако одобрения удостоивались не все души, не оставались в целостности и все гробницы, а посему следовало ожидать неких гротескных ошибок и адских аномалий. Даже в наши дни арабы шепчутся о неосвященных сборищах и святотатственном поклонении, творящихся в забытых потусторонних безднах, которые невозбранно могут посещать только незримые крылатые *ка* и бездушные мумии.

Должно быть, самые зловещие, самые створаживающие кровь легенды связаны с некоторыми извращенными продуктами впадного в упадок жречества – составными мумиями, произведенными посредством искусственного соединения человеческих тел с головами животных в подобии древних богов. Священных животных мумифицировали на всех стадиях истории, и посему освященные быки, коты, ибисы, крокодилы и подобные им могли возвратиться однажды в великой славе. Но только в период упадка смели жрецы смешивать в одной мумии

человеческое и животное – только в период упадка, когда перестали они понимать права и обязанности *ка* и души.

О том, что случилось с этими составными мумиями, не рассказывают – по крайней мере на людях – и не стоит удивляться тому, что пока ни один египтолог никогда не находил таких. Впрочем, среди арабов ходят дикие шепотки, которым не следует доверять. Они даже намекают на то, что старый Хефрен – создатель Сфинкса, Второй пирамиды и зияющего подземного храма – живет в недрах земли в браке с упышкой-царицей Нитокрис и правит мумиями, которые не являются ни людьми, ни животными.

И именно их – Хефрена, его супругу и его странное войско составных мертвецов – видел я в своем видении, и вот почему я рад тому, что точные очертания их исчезли из моей памяти. Но самое жуткое видение было связано с праздным вопросом, который я задал себе вчера, когда рассматривал великую загадку пустыни и гадал, с какими неведомыми глубинами может быть тайно связан соседствующий с ней храм. Этот вопрос тогда, настолько невинный и причудливый, принял в моем видении облик френетического и истерического безумия: *чьим огромным и скверным подобием первоначально являлся Сфинкс?*

Второе мое пробуждение – если только можно назвать его таковым – явило мне картину откровеннейшей жути, с которой мне просто нечего сравнить за исключением той, другой, увиденной мною позже; а ведь жизнь моя была полна приключений, недоступных большинству мужчин. Вспомните, что я потерял сознание, ощутив себя погребенным под каскадом свалившейся сверху веревки, своим долгим падением открывшей мне катаклизмические глубины моего тогдашнего положения. Однако, когда восприятие вернулось ко мне, я ощутил, что тяжесть исчезла, а перекатившись на бок, оставаясь связанным, с кляпом во рту и повязкой на глазах, понял, что *некая сила полностью удалила почти удушившую меня пеньковую груды*. Значение этого факта, конечно, дошло до меня лишь постепенно; но даже при этом мне кажется, что я мог бы снова лишиться сознания, если бы к этому времени не достиг такого уровня эмоционального истощения, что новые ужасы стали для меня попросту безразличны. Я оставался в одиночестве... *но перед чем?*

Однако прежде чем мне представилась возможность извести себя новыми размышлениями или приступить к новой попытке избавления от уз, обнаружилось дополнительное обстоятельство. Неизведанная прежде боль сотрясала мои руки и ноги, и я как бы ощутил на себе коросту засохшей крови, которая просто не могла вытечь из всех моих ссадин и ран. Казалось также, что грудь моя пронзена сотней ударов, – как если бы ее клевал злобный титанический ибис. Бесспорно, тот, кто удалил веревку, был враждебно настроен ко мне и, обнаружив сопротивление, начал наводить на меня жуткие мучения. Тем не менее ощущения мои были прямо противоположны тому, что можно было бы ожидать. Вместо того чтобы погрузиться в бездонную яму отчаяния, я был готов к новой отваге и действию; ибо теперь я ощущал, что злые силы имеют физическую природу, с которой бесстрашный человек может сражаться на равных.

Сила этой мысли заставила меня вновь заняться своими узами и воспользоваться всем искусством высвобождения себя, к которому я так часто прибегал в своей жизни посреди прожекторов и аплодисментов толпы. Знакомые детали процесса освобождения захватили меня, и теперь, когда длинная веревка исчезла, я почти убедил себя в том, что высшие ужасы были галлюцинацией и никогда не было ни этой ужасной шахты, ни неизмеримой пропасти, ни бесконечной веревки. Нахожусь ли я в привратном храме Хефрена, что возле Сфинкса, и не арабы ли похитили меня, чтобы мучить здесь, беспомощного? В любом случае мне следует освободиться. Дай только встать, высвободиться, вынуть кляп и открыть глаза, чтобы уловить хотя бы лучик света от любого источника, и тогда я испытаю восторг в сражении со злыми и коварными врагами!

Не могу сказать, насколько долго я выпутывался из своих уз. Должно быть я потратил на это много больше времени, чем в своих публичных выступлениях, потому что был изранен,

утомлен и до предела взволнован перенесенными переживаниями. Наконец освободившись, вдыхая полной грудью прохладный воздух, сырой и пропахший злыми ароматами, сделавшись еще более ужасными без повязок на рту и глазах, я обнаружил, что тело мое слишком затекло и утомлено, чтобы можно было немедленно приступить к действиям. Незнакомое для себя время я просто лежал, пытаюсь расправить члены, приспособить свои глаза к поискам лучика света, способного намекнуть мне на истинное положение дел. Сила и гибкость постепенно вернулись к моему телу, однако глаза так ничего и не увидели. Поднявшись на нетвердые ноги, я принялся старательно вглядываться во все стороны, обретая лишь чернильную тьму, ничем не отличающуюся от той, которую наводила повязка. Я переступил ногами, покрытыми засохшей кровью под разодранными брюками, и обнаружил, что способен ходить, и все же никак не мог выбрать направление. Очевидным образом, мне не следовало брести наугад, быть может, удаляясь от искомого выхода; поэтому я помедлил, пытаюсь уловить различия в сыром и прохладном, пропахшем содой дуновении, которое не прекращал ощущать. Посчитав источник этого запаха местом возможного входа в пропасть, я попытался направить стопы к этому ориентиру.

У меня был при себе коробок спичек и даже небольшой электрический фонарик; однако в карманах моей всклокоченной и разодранной одежды давно не осталось никаких тяжелых предметов. Итак я осторожно продвигался во тьме, сквозняк становился все более сильным и неприятным, и наконец я стал воспринимать его просто как струю оседаемых испарений, истекавшую из неведомого отверстия подобно превращающейся в джинна струйке дыма из выловленного рыбаком кувшина в восточной сказке. Восток... Египет... поистине, эта мрачная колыбель цивилизации является источником несказуемых ужасов и чудес!

Чем дольше я размышлял о природе дующего по подземелью ветра, тем более глубоким становилось мое беспокойство; ибо несмотря на этот запах, источник которого я посчитал косвенным указанием на путь к наружному миру, теперь с очевидностью понимал, что эта мерзкая эманация никак не может быть примесью к чистому воздуху ливийской пустыни, но изрыгнута из зловещих глубин. Словом, я брел в ошибочном направлении!

После недолгого размышления я решил не возвращаться обратно по собственным стопам. Удалившись от сквозняка, я не найду другого ориентира, ибо грубая поверхность скалы под ногами была лишена каких-либо отличительных признаков. Однако если я пойду на странный запах, то, вне сомнения, приду к какому-нибудь отверстию, от врат которого, вероятно, сумею пройти вдоль стены на противоположную сторону этого циклопического и другими способами непреодолимого зала. Я вполне понимал, что могу потерпеть неудачу. Мне было ясно, что я нахожусь не в той части привратного храма Хефрена, которая известна туристам; более того, похоже было, что этот зал не известен даже археологам и о нем знают только захватившие меня любознательные и злые арабы. В таком случае, существует ли для меня спасительная дверь, выводящая в известные части храма или наружу, на воздух?

Впрочем, какими я располагал свидетельствами того, что нахожусь в привратном храме? На мгновение я припомнил все свои самые буйные фантазии и подумал, что вся эта яркая смесь впечатлений – спуск, ощущение парения в пространстве, веревка, мои раны и видения, откровенно говоря, были грезами. Но неужели моей жизни пришел конец? И если уж его не избежать, окажется ли он милостивым ко мне? Я не мог ответить ни на один из этих вопросов, а посему просто погрузился в размышления, пока судьба в третий раз не повергла меня в забвение.

На сей раз видений не было, ибо внезапный характер случившегося избавил меня от всего сознательного и подсознательного. Оступившись на неожиданно оказавшейся под ногами нисходящей ступеньке – в том самом месте, где дуновение стало достаточно сильным, чтобы оказывать реальное физическое сопротивление, – я покатился вниз по огромной каменной лестнице в водоворот мерзости несказанной.

То, что я сумел снова вздохнуть, объясняется лишь крепостью, присущей здоровому человеческому организму. Часто обращаясь памятью к событиям этой ночи, я ощущаю известную долю юмора в повторных обмороках, последовательность которых в то время напомнила мне ни о чем ином, как о примитивных кинематографических мелодрамах той поры. Конечно, вполне возможно, что повторные обмороки просто не существовали; что все подробности этого подземного кошмара посетили меня в порядке видений длинного забвения, начавшегося с шока, вызванного спуском в ту самую бездну, и закончившегося целительным бальзамом свежего воздуха и лучами зари, заставшей меня распростертым на песках Гизе перед сардоническим утренним ликом Великого Сфинкса.

Насколько мне это удастся, я предпочитаю верить в последнее объяснение, и потому с радостью узнал, что ограждение храма Хефрена оказалось нарушенным и что в еще не раскопанной части существует значительная расселина. Радовался я и когда врачи заключили, что раны были нанесены мне исключительно при захвате, наложении повязок и кляпа, спуске, высвобождении из пут и падении с небольшой высоты – быть может, в углубление во внутренней галерее храма, – продвижении ползком к внешней ограде и преодолении ее и тому подобное... весьма утешительный диагноз. И тем не менее я знаю, что за ним кроется нечто более глубокое, чем может показаться с поверхности. Тот непомерный спуск слишком памятен мне, чтобы его можно было забыть... кроме того, чрезвычайно странно, что никто так и не сумел отыскать человека, отвечающего описанию внешности моего проводника, Абдула Реиса-эль-Дрогмана, наделенного замогильным голосом, улыбавшегося, как царь Хефрен, и похожего на него внешне.

Но я отклонился от своего связного повествования – быть может, в тщетной надежде избежать рассказа о последнем эпизоде – эпизоде, который почти наверняка является галлюцинацией. Однако я обещал рассказать его, а своих обещаний я не забываю. Придя в чувство после падения с черной каменной лестницы – реального или мнимого, – я обнаружил, что нахожусь, как прежде, в одиночестве и в полной тьме. Вонючий сквозняк, и без того разивший скверной, сделался воистину адским; тем не менее я успел настолько привыкнуть к нему, чтобы переносить стоически. Ошеломленный падением, я пополз прочь от места, откуда исходил мерзкий ветер, кровоточащими руками ощущая под собой колоссальные плиты огромного пола. И только когда голова моя уткнулась в твердый объект, я понял, что это основание колонны – колонны немыслимой, невыразимой величины, поверхность которой покрывали вырубленные огромные иероглифы, открытые для моего осязания.

Я пополз дальше, натываясь на другие титанические колонны, отделенные от первой непостижимым для меня расстоянием, когда внимание мое вдруг было захвачено пониманием натиска на слух, который подсознание ощутило раньше, чем слуховые органы.

Из какой-то еще более низкой бездны в недрах земли исходили некие звуки, ритмичные и отчетливые, подобных которым мне слышать никогда не приходилось. Почти интуитивно я осознал их древнюю и церемониальную природу; а начитанность в египтологии заставила меня связать эти звуки с флейтой, самбукой, систром и тимпаном. В их ритмичном писке, жужжании, перестуке и ударах я ощущал прикосновение ужаса, превосходящего все ужасы земли, – ужаса, странным образом не связанного с личным страхом, принимающего форму объективной жалости к нашей планете, вынужденной держать в своих недрах те ужасы, которые способны скрываться за сими эгипантическими⁴ какофониями. Громкость звуков возрастала, и я ощутил, что они приближаются. Тут – и пусть все боги всех пантеонов впредь защищают мой слух от подобных звуков – я начал воспринимать негромкий, доносящийся издали жуткий тысячелетний топот приближающихся марширующих тварей.

⁴ Эгипан, то есть Пан-козел, некоторыми считается существом, отличающимся от Пана, в то время как другие считают его идентичным Пану. Согласно Гигину, являлся сыном Зевса.

Жутко было уже то, что столь различные шаги могли двигаться в столь идеальном ритме. Отданные учениям тысячелетия звучали в этом марше чудовищ, населявших самые внутренности земли... топание, плюхание, цоканье, шаги легкие и тяжкие, величественные и неуклюжие, грохочущие... раздавались под отвратительную дисгармонию насмешливых инструментов. А за нею – Боже, изгони память об этих арабских легендах из моей головы! – лишенные души мумии – место встречи скитающихся *ка...* орды фараонических, проклятых дьяволом мертвецов, расставшихся с жизнью сорок столетий назад... составные мумии, ведомые сквозь предельную ониксовую пустоту царем Хефреном и его упыркой-царицей Нитокрис.

Топот близился – Небо, избави меня от звука поступи этих ног, копыт, лап, когтей, делавшейся теперь различимой! Вниз с бесконечной лишенной солнца мостовой в вонючем ветре просияла искорка света, и я скрылся за колоссальной окружностью циклопической колонны, чтобы хоть на мгновение спрятаться от ужаса, который топотом миллионов ног подбирался ко мне по гигантскому гипостилю, полному нечеловеческого страха и болезненной сумасшедшей древности. Мерцания умножались в числе, топот и диссонирующий ритм обрели болезненную громкость. Трепещущий оранжевый свет выхватил из тьмы сцену, полную такого каменного величия, что я охнул от чистейшего изумления, способного одолеть и страх, и отвращение. Надо мною возвышались монолиты колонн, середины которых оставались за пределами человеческого взора, каждая из которых повергла бы в ничтожество Эйфелеву башню... покрытые иероглифами, выбитыми неведомыми руками в пещере, где память о дневном свете могла сохраниться только в стариннейшей из легенд...

Я не хотел смотреть на марширующих тварей. И потому отвернулся, услышав скрип суставов и едкое дыхание поверх мертвой музыки и топанья мертвяков. По милости господней они не разговаривали... но Боже! *Эти безумные факелы начали отбрасывать тени на поверхность ошеломляющих колонн. У бегемотов не должно быть человеческих рук, им не положено ходить с факелами... у людей не может быть крокодильих голов...*

Я попробовал отвернуться и от них, но тени, звуки и вонь окружали меня. А потом вспомнил правило которым пользовался еще в неосознанных детских кошмарах, и начал повторять про себя: «Я во сне! Вокруг меня – сон!» Однако это было бесполезно, и мне оставалось только закрыть глаза и молиться... по крайней мере, мне кажется, что именно так я и поступил, хотя в видениях ни в чем нельзя быть уверенным, а, насколько мне известно, именно таковым и может оказаться все случившееся со мной. Я подумал о том, что едва ли сумею попасть на поверхность земли, и временами чуть приоткрывал глаза, чтобы попробовать различить какую-нибудь черту этого места, помимо пряного тлена и безверхих колонн. Трескучий свет все умножавшихся факелов теперь слепил глаза, и если только адское угодье это не было полностью лишено стен, я не мог не попытаться увидеть какой-нибудь предел или границу ему. Впрочем, мне пришлось снова прикрыть глаза, когда я понял, сколько же тварей собралось... и еще потому, что, приоткрыв их, я увидел некий объект, внушительно и торжественно топающий *без всякого торса над поясницей*.

Бесовское воющее трупное бульканье или смертный грохот теперь раскалывал саму атмосферу – атмосферу склепа, отравленную запахами нефти и битума – единым согласованным хором мерзкого легиона богохульно искаженных созданий. Глаза мои, извращенно открывшиеся на мгновение, впитывали зрелище, которого не в силах представить себе человек, не испытывая при этом паники, страха и физического изнеможения. Церемонным маршем твари направлялись в одну сторону, следуя направлению докучливого ветра, где свет факелов выхватывал их склоненные головы – точнее, склоненные головы таковых, кто имел головы. Так они почитали огромное, извергавшее черное зловоние отверстие, тянувшееся вверх за пределы взгляда, и которое, насколько я мог видеть, под прямыми углами окаймляли две гигантские лестницы, концы которых терялись в далеких тенях. С одной из них я, вне сомнения, и свалился.

Размеры дыры полностью соответствовали высоте колонн — обычный дом полностью потерялся бы в ней, а среднее общественное сооружение можно было бы и внести в нее, и вынести. Поверхность ее казалась настолько огромной, что охватить ее взором было не так-то просто... такой огромной, столь ужасающе черной и так смердящей, невзирая на все благовоения. Непосредственно перед этой разверзшейся полифемовой дверью твари бросали наземь какие-то предметы — жертвоприношения, явно носившие религиозный характер, если судить по их жестам. Хефрен находился во главе их; пренебрежительно ухмыляющийся царь Хефрен или проводник мой Абдул Реис, увенчанный золотым пшентом⁵ и нараспев твердивший бесконечные формулы гулким замогильным голосом. Возле него преклоняла колена прекрасная царица Нитокрис, обратившаяся ко мне профилем на мгновение, за которое я успел заметить, что правая половина ее лица объедена крысами или другими упырями. И я вновь зажмурил глаза, когда рассмотрел, что именно представляют собой предметы, предлагаемые в жертву скверной дыре или ее местному божку. Мне пришло в голову, что, учитывая вычурность церемонии, затаившееся божество может обладать существенным значением. Был ли то Осирис, Исида, Гор или Анубис, или некий еще более высший и могущественный, но неведомый Бог Усопших? Существует легенда о том, что жуткие алтари и страшных колоссов посвящали неведомому Богу еще до того, как начали почитать богов известных.

Теперь, когда я принудил себя наблюдать за глубоким замогильным обрядом почитания, свершавшимся этими безымянными тварями, в голову мою скользнула мысль о спасении. В зале было сумрачно, колонны отягощала тьма. При том, что всякая тварь из этого кошмара пребывала погруженной в мерзкий экстаз, существовала некая возможность того, что я сумею пробраться незамеченным к дальнему концу одной из лестниц и подняться по ней, с тем чтобы судьба и собственное мастерство позаботились обо мне далее. Я не знал, где находился в тот миг, да и не задумывался сколько-нибудь серьезно об этом — и на какое-то мгновение мне показалось забавным то, что я начал всерьез составлять план спасения из того, что могло быть только скверным кошмарным сном. Находился ли я в некоем потайном и никому неведомом нижнем помещении привратного храма Хефрена — храма, который из поколения в поколение именуется храмом Сфинкса? Этого определить я не мог, и все же решился вернуться к жизни и сознанию, если разум и мышцы в состоянии помочь мне в этом.

Распростершись на животе, я начал опасный путь к подножию левой лестницы, которая показалась мне наиболее доступной из двух. Не могу описать вам свои тогдашние впечатления и переживания, однако о них несложно догадаться, если заставить себя помыслить о том, за чем именно приходилось мне постоянно следить в злобном, колеблемом ветром свете факелов, стараясь, чтобы меня не заметили. Нижние ступени лестницы, как я уже говорил, тонули в глубокой тени, далее она, не перегибаясь, поднималась к головокружительной, окруженной парапетом площадке над титаническим отверстием. Таким образом, последние стадии моего движения уводили меня на существенное расстояние от шумного стада, хотя само зрелище по-прежнему повергало меня в ужас даже на таком удалении.

Наконец мне удалось подняться по ступеням и приступить к подъему, держась поближе к стене, на которой нетрудно было заметить украшения самого жуткого толка, и оставаясь незамеченным благодаря увлеченному экстатичному вниманию, с которым чудища взирали на дышащее смрадом отверстие и возмутительные предметы, которые они бросали на мошный пол перед нею. Хотя лестница оказалась огромной и крутой, сложенной из порфировых блоков под стать ногам гиганта, подъем показался мне практически бесконечным. Ужас перед перспективой быть замеченным и боль, которую вновь пробудило в моих ранах физическое напряжение, превратили этот подъем ползком в предмет мучительного воспоминания. Достиг-

⁵ Корона, по форме напоминавшая бутылку, вставленную в кольцо. Такую двоянную корону красно-белого цвета стали носить фараоны после объединения Нижнего и Верхнего Египта в одно централизованное государство.

нув площадки, я намеревался продолжить подъем по любой из ведущих вверх лестниц, которая могла начинаться там, не останавливаясь ни на миг для того, чтобы бросить последний взгляд на трупные мерзости, топавшие и преклонявшие колена в семидесяти или восьмидесяти футах подо мной – однако внезапный взрыв громогласного трупного булькания и хорального смертного треска, случившийся как раз тогда, когда я достиг вершины пролета, и своим церемониальным ритмом указывавший на то, что вызван не тем, что меня заметили, заставил меня остановиться и осторожно выглянуть из-за парапета.

Чудовища приветствовали нечто, высунувшееся из тошнотворного отверстия, чтобы потребить принесенные приношения. Существо это, насколько я мог судить с высоты, оказалось внушительным; желтое и волосатое, оно продвигалось какими-то нервными рывками. Величиной оно было с хорошего гиппопотама, однако имело весьма причудливые очертания. У него как будто бы вообще не было шеи, и пять отдельных косматых голов торчали в рядок из почти цилиндрического тела; первая была совсем невелика, вторая имела размер вполне приличный, третья и четвертая были равными и крупнейшими среди всех, а пятая вновь была невелика, но не настолько, как первая.

Из голов этих метнулись вперед странного вида жесткие щупальца, с жадностью схватившие великое количество предложенной этой твари несказуемой пищи, оставленной перед отверстием. Время от времени тварь дергалась вверх или странным образом отступала в свое логово. Движение это казалось настолько необъяснимым, что я смотрел на тварь словно замороженный, внутренне желая, чтобы она побольше выдвинулась из своего расположенного подо мной мерзкого логова.

Тут она и впрямь *высунулась... высунулась*, и вид этот заставил меня обратиться вспять и бежать во тьме вверх по лестнице, оказавшейся за моей спиной; без оглядки бежать по невероятным ступеням, пролетам и пандусам, руководствуясь чем угодно, кроме человеческого зрения или логики, и подтверждение моему бегству следует искать в мире видений. Действительно, все это было всего лишь сном, иначе рассвет не застал бы меня дышащим на песках Гизе перед сардоническим, озаренным лучами зари ликом Великого Сфинкса.

Великий Сфинкс! Боже! – этот праздный вопрос я задавал себе всего лишь благословенным солнцем вчерашним утром... *какую же огромную и мерзкую аномалию изображала первоначально его фигура?*

Бдь проклято зрение, в видении или бодрствовании открывшее мне этот высший ужас – неведомого Бога Мертвых, пожирающего свой корм в неведомой бездне, потребляющего эти непотребные куски, приносимые невозможными тварями, не имеющими права существовать. Явившийся из тьмы пятиголовый монстр... пятиголовый монстр величиной с гиппопотама... этот пятиголовый монстр был всего лишь передней лапой...

Но я остался в живых и потому знаю, что это был всего только сон.

1924

Крысы в стенах

Я переехал в Эксгэмское приорство 16 июля 1923 года, как только последний из рабочих завершил свои дела. Реставрация оказалась сложнейшим делом, ведь от заброшенного сооружения остались одни только стены. Но здесь жили мои предки, и я не считался с расходами. Дом оставался необитаемым со времен Иакова Первого, когда ужасная, но во многом непонятная гибель поразила сразу хозяина дома, пятерых его детей и нескольких слуг; третий сын владельца, окутанный облаком подозрений и ужаса, бежал отсюда. Он, единственный уцелевший изо всей проклятой семьи, и стал моим прямым предком.

Единственный наследник был объявлен убийцей. Все владения отошли короне, но подвергшийся обвинению не стал пытаться обелить себя и не предпринял никаких попыток к возвращению своей собственности. Одолеваемый ужасом, куда более сильным, чем разум или закон, с одним только желанием на устах – не видеть старинного дома и не слышать о нем, Уолтер де ла Поэр, одиннадцатый барон Эксгэмский, бежал в Виргинию и там основал семейство, в следующем столетии звавшееся именем Делапор.

Приорство Эксгэмское осталось без хозяина. Впрочем, позднее оно было присоединено к владениям лорда Норриса. Приорством интересовались: в архитектуре его странным образом объединились разные стили – готические башни высились на саксонском и романском основаниях, фундаменты же покоились на еще более раннем смешении ордеров – римского, друидического и даже местного кимврского, если не врут легенды. Подобное смешение представляло великую редкость. Другой стороной приорство лежало на прочном песчанике и выходило к уединенной долине в трех милях к западу от деревни Анчестер.

Архитекторы и антиквары просто обожали этот невероятный памятник забытых столетий, но деревенский люд ненавидел его. Селяне ненавидели приорство все те сотни лет, когда в нем жили мои предки, ненавидели и теперь его заросшие мхом и заплесневевшие камни. Я не успел провести в Анчестере даже дня, как сразу узнал, что происхожу из проклятого рода. На этой неделе рабочие взорвали дом и теперь ровняют с землей фундамент его. Даты жизни моих предков известны мне были всегда, помнил я и то, что первый американец в моем роду появился в колониях, окутанный странными слухами. Подробностей, конечно же, я не знал, в отличие от соседей-плантаторов – Делапоров всегда были скрытны в этих вопросах. Мы редко хвастали предками – крестоносцами и прочими героями Средневековья и Ренессанса, не существовало у нас и семейных преданий. Кое-что, правда, содержалось в запечатанном конверте, который в предшествующие Гражданской войне времена каждый сквайр оставлял старшему сыну для прочтения после смерти. И нам хватало почестей, заработанных после миграции гордой и достопочтенной, пусть несколько замкнутой и необщительной виргинской ветвью нашей семьи.

Но во время войны состояние наше погибло, а весь образ жизни претерпел изменения, после того как сожжен был Карфакс, наш дом на берегу Джеймс-ривер. Мой дед, человек преклонного возраста, не смог пережить гнусного поджога; с ним погиб и конверт, связывавший нас с прошлым. Даже сегодня помню этот пожар, хотя мне было только семь лет; помню, как орали солдаты-конфедераты, визжали женщины, как выли и молились негры. Отец мой находился в армии, он оборонял Ричмонд, и после многих формальностей нас с матерью пропустили к нему через линию фронта.

Когда война закончилась, все мы переселились на север, поближе к родным матери. Я вырос, стал взрослым и богатым, уже как самый настоящий янки. Ни отец, ни тем более я не ведали, что таилось в наследственном конверте, а окунувшись в серые будни массачусетского бизнеса, я и вовсе потерял интерес к тайне, притаившейся возле корней моего фамиль-

ного древа. Но если бы я только мог заподозрить природу ее, Эксгэмское приорство по-прежнему было бы забыто под мхами, предоставлено летучим мышам и паукам.

Отец мой умер в 1904 году, не оставив никакого известия для меня или моего единственного сына Альфреда, лишившегося матери в десять лет. Он-то и изменил направление передачи информации в нашем роду. Сам я только шутками отделялся от его вопросов, а он сумел разыскать в Англии несколько весьма интересных легенд о предках – жизнь забросила его в эти края в 1917 году офицером-летчиком. История Делапоров оказалась яркой, но несколько зловещей. Приятель сына капитан Эдвард Норрис, обитавший возле фамильного гнезда в Анчестере, поведал ему о некоторых суевериях, до сих пор памятных тамошним крестьянам... Немного нашлось бы писателей, способных придумать более замысловатые и невероятные истории. Сам Норрис, конечно, не принимал их всерьез, но сына они развлекали, предоставляя интересный материал для писем ко мне. Эти легенды и обратили мое внимание к заокеанскому наследию, они и навели на мысль купить и восстановить фамильное обиталище, которое Норрис показывал Альфреду в живописном запустении. Он даже взялся устроить приобретение за удивительно низкую цену, поскольку нынешним владельцем был его собственный дядя.

Я купил Эксгэмское приорство в 1918 году, но от планов своих, касавшихся восстановления, почти сразу же был отвлечен нездоровьем сына, возвратившегося с войны тяжелым инвалидом. И в последние два года его жизни я думал только о нем и даже собственные дела передал в руки партнеров. А потом в 1921 году оказался и без дел, и без целей. Немолодой, отошедший от дел заводчик. И я решил заполнить оставшиеся мне годы новым владением. В декабре я посетил Анчестер, где меня занимал капитан Норрис, приятный молодой человек, несколько полноватый, с уважением вспоминавший о моем сыне. Я заручился его поддержкой во всем, что касалось сбора старинных чертежей и исторических анекдотов. Эксгэмское приорство не пробудило во мне никаких чувств. И мудроно воспылать привязанностью к обветшавшим средневековым стенам, покрытым лишайниками, увенчанным вороньими гнездами и внутри не скрывающим ничего, кроме каменных перегородок.

Постепенно восстанавливая облик сооружения, каким оставили его мои предки три столетия назад, я начал набирать рабочих. И каждый раз мне приходилось подыскивать их не в ближних окрестностях, поскольку жители Анчестера испытывали к руинам почти непостижимый страх и ненависть. Неприязнь эта была настолько сильна, что передавалась и на наемных работников, но направлена она была в первую очередь против прежних хозяев приорства и самого замка.

Сын упоминал, что во время предыдущих визитов сюда его избегали – только потому, что он был де ла Поэр, и теперь я обнаружил, что подвергаюсь остракизму по той же причине. С трудом удалось мне убедить местных жителей в том, что о своей родне я не знаю почти ничего. Но даже тогда они не забыли о своем недоверии ко мне, и деревенские легенды в основном приходилось разузнавать через Норриса. Местные жители не желали мне простить самого намерения восстановить столь отвратительный для них символ; имея или не имея на то оснований, Эксгэмское приорство они считали обиталищем злых духов и оборотней.

Сводя воедино рассказанные Норрисом байки, внося в них соответствующие поправки, материал для которых поставляли несколько специалистов, исследовавших руины, я смог заключить, что Эксгэмское приорство поставлено было на месте доисторического друидического храма или даже еще более раннего, современного Стоунхенджу. Можно было не сомневаться, что в местах этих отправлялись мерзостные обряды, весьма пакостным образом вошедшие в культ Кибелы, который установили здесь римляне.

В нижнем подвале была видна надпись с не оставлявшими места сомнению буквами «DIV... OPS... MAGNA. MAT...»⁶, свидетельством поклонения великой Матери, чей мрачный культ некогда тщетно пытались запретить в Риме. Как подтверждается многочисленными находками, в Анчестере стоял третий Августов легион. По дошедшим сообщениям, храм Кибелы славился великолепием и никогда не пустовал. Под руководством жреца-фригийца в нем отправляли тайные обряды. Говорили, что падение старой религии не положило конец оргиям в храме, а жрецы продолжали по-прежнему благоденствовать. Утверждали еще, что совершение этих обрядов не пресеклось и после падения Рима, и саксы перестроили полуразрушенный храм, придав ему те очертания, которые он долго еще сохранял, повергая в ужас своими церемониями половину Гептархии⁷

⁶ БОЖ... ВЕЛИКАЯ МАТЕ...

⁷ Семи саксонских королевств, существовавших с V по VIII в. от Р. Х.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.